Даниил Гранин



человек
среди
людей


человек
среди
людей

Даниил Гранин

ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1974

Гранин Д. А.

Г77 Эта странная жизнь. М., «Сов. Россия», 1974.

112 с. (человек среди людей).

Герой новой повести известного писателя Даниила Гранина — ученый Александр Александрович Любищев. Размышляя над архивом ученого — дневниками, письмами, заметками, автор потрясен огромной нравственной силой своего героя.

Г $\frac{60102-049}{М-105(03)74}$ 74 без объявл. 1МИ7

Глава первая, где автор размышляет, как бы заинтересовать читателя, а тот решает, стоит ли ему читать дальше

Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов и чтобы было интересно. Довольно трудно совместить оба эти требования. Факты интересны тогда, когда их не обязательно придерживаться. Можно было попытаться найти какой-то свежий прием и, пользуясь им, выстроить из фактов занимательный сюжет. Чтобы была тайна, и борьба, и опасности. И чтобы при всем при том сохранялась достоверность.

Я бы мог изобразить, например, этого человека бесстрашным бойцом-одиночкой против могущественных противников. Один против всех. Еще лучше — все против одного. Несправедливость сразу привлекает сочувствие. Но на самом деле было как раз один против всех. Он нападал. Он первый наскакивал и сокрушал. Смысл его научной борьбы был достаточно сложен и спорен. Это была настоящая научная борьба, где никому не удается быть окончательно правым. Можно было приписать ему проблему попроще, присочинить, но тогда неудобно было оставлять подлинную фамилию. Тогда надо было отказаться и от многих других фамилий. Но тогда бы мне никто не поверил. И потом, мне хотелось воздать должное этому человеку, особенно теперь, когда его нет в живых.

Конечно, подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем. Он и покладистый и откровенный — автору известны все его мысли и намерения, и прошлое его и будущее.

У меня была еще другая задача: ввести в читателя все полезные сведения, дать описания — разумеется, поразительные, удивительные, но, к сожалению, неподходящие для литературного произведения. Они скорее годились для научно-популярного очерка. Представьте себе, что в середине «Трех мушкетеров» вставлено описание приемов фехтования. Читатель наверняка пропустит эти страницы. А мне надо было заставить читателя прочесть мои сведения, поскольку это и есть самое важное...

Для меня так оно и было, ради этого и затеял эту вещь. Тут заключался для меня главный секрет моего героя.

...На крючок секрета тоже вполне можно было подцепить. Обещание секрета, тайны — оно всегда привлекает, тем более что тайна эта не придуманная: я действительно долго бился над дневниками и архивом моего героя, и все, что я извлек оттуда, было для меня открытием, разгадкой секрета целой жизни.

Впрочем, если по-честному,— тайна эта не сопровождается приключениями, погоней, не связана с интригами и опасностями.

Секрет — он насчет того, как лучше жить.

На этом, конечно, можно очень даже развернуться и заявить, что вещь эта — про поучительнейший пример наилучшего устройства жизни — дает единственную в своем роде Систему жизни.

«Наша Система позволяет достигнуть больших успехов в любой области, в любой профессии!»

«Система обеспечивает наивысшие достижения при самых обыкновенных способностях!»

«Вы получаете не отвлеченную систему, а гарантированную, проверенную многолетним опытом, доступную, продуктивную...»

«Минимум затрат — максимум эффекта!»

«Лучшая в мире!..»

Можно было бы обещать читателю рассказать про неизвестного ему выдающегося человека нашего времени. Дать портрет героя нравственного, с такими высокими правилами нравственности, какие ныне кажутся старомодными. Жизнь, прожитая им,— внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая;

с точки зрения обывателя, он — типичный неудачник, по внутреннему же смыслу это был человек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробы. Признаться, я думал, что люди такого масштаба повывелись, это — динозавры...

Как в старину открывали земли, как астрономы открывают звезды, так писателю может посчастливиться открыть человека. Есть великие открытия характеров и типов: Гончаров открыл Обломова, Тургенев — Базарова, Сервантес — Дон Кихота.

Это было тоже открытие, не всеобщего типа, а как бы личного, моего, и не типа, а скорее, идеала; впрочем, и это слово не подходило. Для идеала Любищев тоже не годился...

Я сидел в большой неуютной аудитории. Голая лампочка резко освещала седины и лысины, гладкие зачесы аспирантов, длинные лохмы, и модные парики, и курчавую черноту негров. Профессора, доктора, студенты, журналисты, историки, биологи... Больше всего было математиков, потому что происходило это на их факультете — первое заседание памяти Александра Александровича Любищева.

Я не предполагал, что придет столько народу. И особенно — молодежи. Возможно, их привело любопытство. Поскольку они мало знали о Любищеве. Не то биолог, не то математик. Дилетант? Любитель? Кажется, любитель. Но почтовый чиновник из Тулузы — великий Ферма — был тоже любителем. Любищев — кто он? Не то виталист, не то позитивист, или идеалист, во всяком случае — еретик.

И докладчики тоже не вносили ясности.

Одни считали его биологом, другие — историком науки, третьи — энтомологом, четвертые — философом...

У каждого из докладчиков возникал новый Любищев. У каждого имелось свое толкование, свои оценки. У одних Любищев получался революционером, бунтарем, бросающим вызов догмам эволюции, генетики.

У других возникала добрейшая фигура русского интеллигента, неистощимо терпимого к своим противникам.

— ...В любой философии для него была ценна живая критическая и созидающая мысль!

— ...Сила его была в непрерывном генерировании идеи, он ставил вопросы, он будил мысль.

— ...Как заметил кто-то из великих математиков, «гениальные геометры предлагают теорему, талантливые ее доказывают». Так вот он был предлагающий.

— ...Он слишком разбрасывался, ему надо было сосредоточиться на систематике и не тратить себя на философские проблемы.

— Александр Александрович образец сосредоточенности, целеустремленности творческого духа, он последовательно в течение всей своей жизни...

— Дар математика определил его миропонимание...

— ...Широта его философского образования позволила по-новому осмыслить проблему происхождения видов.

— ...Он был рационалист!

— Энтомолог!

— ...Фантазер, человек увлекающийся, интуитивист!

Они многие годы были знакомы с Любищевым, с его работами, но каждый рассказывал про того Любищева, какого знал.

Они и раньше, конечно, представляли его разносторонность. Но только сейчас, слушая друг друга, они понимали, что каждый знал только часть Любищева.

Неделю до этого я провел, читая его дневники и письма, вникая в историю забот его ума. Я начал читать без цели. Просто чужие письма. Просто хорошо написанные свидетельства чужой души, прошедших тревог, минувшего гнева, памятного и мне, потому что и я когда-то думал о том же, только не додумал...

Вскоре я убедился, что не знал Любищева. То есть я знал, я встречался с ним, я понимал, что это человек редкий, но масштабов его личности я не подозревал. Со стыдом я признавался себе, что числил его чудаком, мудрым милым чудаком, и было горько, что упустил много возможностей бывать с ним. Столько раз собирался поехать к нему в Ульяновск, и все казалось, успеется.

Который раз жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница, она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал, куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери — такими обидными и, главное, непоправимыми.

Студент, что сидел рядом с мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречивые рассказы выступавших.

Прошел всего год после смерти Любищева — и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле.

Ушедший принадлежит всем, с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из Любищева то, что им нравилось, или то, что им было нужно в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее — приемлемо-среднее, лишенное противоречий, загадок — сглаженное и малоузнаваемое.

Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным. И неживым.

Если он, конечно, поддастся.

Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография — старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на выступавших, как бы решая, какую ему еще штуку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, теории не имеют сейчас никакого отношения к тому старому человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и обо всем спросить.

Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным. И наше отношение к умершему тоже меняется. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков. В них была определенность. Жизнь Любищева предстала перед ними завершенной, теперь они решились обмыслить, подытожить ее. И было понятно, что теперь-то многие его идеи получат признание, многие работы будут изданы и переизданы. У умерших почему-то больше прав, им больше позволено...

...А можно сделать и так: предупредить читателя, что никакой занимательности не будет, наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения

и развлечения. Автор сам с трудом разобрался с этим материалом, и все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого ни на что не похожего повествования.

Глава вторая—о причинах и странностях любви

Давно уже меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его «расхватывали» на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсации, не журналисты — открыватели непризнанных гениев: есть такая публика,— как раз наоборот, серьезные ученые, молодые доктора наук — весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать.

Чем для них был Любищев — казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа... Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики и покрупнее Любищева, и генетики позаслуженнее его.

Его эрудиция? Да, он много знал, но в наше время эрудицией можно удивить, а не завоевать.

Его принципиальность, смелость? Да, конечно...

Но я, например, не все это мог должным образом оценить, я мало что понимал в его специальных исследованиях... Что мне было до того, что Любищев получал лучшую дискриминацию трех видов Хэтокнема? Я понятия не имел, что это за Хэтокнем, и до сих пор не знаю. И дискриминантные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любищевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним, часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как и его почерк.

Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский и Лев Давидович Ландау, и Виктор Борисович Шкловский. Правда, там я знал, что передо мною люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У Любищева же

такой известности не было. Я видел его без всякого ореола: плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел усомнить самые незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейера де Шардена, Шредингера... Всякий раз доказательно, неожиданно, думал оттуда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал, все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами, в их первородном значении.

— Я — кто? Я — дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», что значит — удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие.

Еретичность была только признаком, за ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное, контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения. Формы этого еще не достроенного здания были странны и привлекательны...

И все же этого было недостаточно. Чем-то меня еще пленял этот человек. Не только меня. К нему обращались учителя, заключенные, академики, искусствоведы и люди, о которых я не знаю, кто они. Я читал не их письма, а ответы Любищева. Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые — очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой. Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении. По крайней мере так мне казалось теперь.

Не случайно у него почти не было учеников. Хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников, и у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики, научная школа — это бывает не так часто. У Любищева были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были *у́чащиеся*, то есть не он их учил, а они учились у него — трудно определить, чему именно, скорее всего тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот наконец-то нам встретился человек, кото-

рому известно, зачем он живет, для чего... Словно бы имелась у него высшая цель, а может, даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать, а, похоже, он понимал сокровенное значение всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих принципов. Тем не менее пример Швейцера затрагивает совесть людей.

У Любищева была своя история. Не явная, большей частью скрытая как бы в клубнях. Они начали обнажаться лишь теперь, но присутствие их ощущалось всегда. Что бы там ни говорилось, интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения — помимо поступков, помимо слов, помимо всех известных законов физики...

Глава третья, в которой автор сообщает сведения, разумеется, достойные удивления и раздумья

Никто, даже близкие Александра Александровича Любищева не подозревали величины наследия, оставленного им.

При жизни он опубликовал около семидесяти научных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии — работы, широко переведенные во всем мире

Всего же им написано более пятисот листов разного рода статей и исследований. Пятьсот листов — это значит двенадцать с половиной тысяч страниц машинописного текста: с точки зрения даже профессионального писателя, цифра колоссальная.

История науки знает огромные наследия Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктивность всегда была загадочной. При этом казалось необъяснимым, но естественным, что в старину люди писали больше. Для нынешних же ученых многотомные собрания сочинений — явление редкое и даже странное. Писатели — и те, похоже, стали меньше писать.

Наследие Любищева состоит из нескольких разделов:

там работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции... Кроме того, он писал воспоминания о ряде ученых, о разных периодах своей собственной жизни.

Он читал лекции, заведовал кафедрой, отделом научного института, ездил в экспедиции; в тридцатые годы он исколесил вдоль и поперек Европейскую Россию, ездил по колхозам, занимаясь вредителями садов, стеблевыми вредителями, сусликами... В так называемое свободное время, для «отдыха», он занимался классификацией земляных блошек. Объем только этих работ выглядит так: к 1955 году Любищев собрал 35 ящиков смонтированных блошек. Их было там 13 000. Из них у 5000 самцов он препаровал органы. Триста видов. Их надо было определить, измерить, препаровать, изготовить этикетки. Он собрал материалов в шесть раз больше, чем имелось в Зоологическом институте. Он занимался классификацией рода Хальтика всю жизнь. Для этого надо иметь особый талант углубления, надо уметь понимать такие работы, их ценность и неисчерпаемую новизну. Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился: «Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая!»

Любищев умудрился работать и вширь и вглубь, быть узким специалистом и быть универсалом.

Диапазон его знаний трудно было определить. Заходила речь об английской монархии — он мог привести подробности царствования любого из английских королей; говорили о религии — выяснялось, что он хорошо знает Коран, Талмуд, историю папства, учение Лютера, идеи пифагорейцев... Он знал теорию комплексного переменного, экономику сельского хозяйства, социал-дарвинизм Р. Фишера, античность и бог знает что еще. Это не было ни всезнайством, ни начетничеством, ни феноменом памяти. Подобные знания возникли в силу причин, о которых речь пойдет ниже. Замечу, что, конечно, и усидчивостью он обладал колоссальной. Усидчивость — это ведь тоже свойство некоторых талантов, кстати — распространенное и необходимое для такой специальности, как энтомология: Любищев сам говорил, что принадлежит к ученым, которых надо снимать не с лица, а с зада.

Судя по отзывам специалистов — таких ученых, как Лев Берг, Николай Вавилов, Владимир Беклемишев, цена написанного Любищевым — высокая. Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных, другие из спорных — в несомненные. За судьбу его научной репутации, даже славы, можно не беспокоиться.

Я не собираюсь популярно рассказывать о его идеях и заслугах. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия,— а умер он восьмидесяти двух лет,— работоспособность и идеепроизводительность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, *как, каким образом* он этого добивался. Вот этот *способ* и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания Любищева. То, что он разработал, представляло открытие, оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая,— так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любищева. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность.

Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях — добрый, злой, душевный, жестокий — мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств. Любищев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его системой жизни.

Глава четвертая—про то, какие бывают дневники

Архив Любищева еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные, переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии, дневники, статьи, рукописи, воспоминания его, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая

много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии...

Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались — не из тщеславия и не в расчете на потомков, нисколько. Большею частью архива сам Любищев активно пользовался, в том числе и копиями собственных писем — в силу их особенности, о которой речь впереди.

Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года (!),— такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было воссоздать во всех ее извивах, год за годом, более того — день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу, Любищев вел этот дневник с 1916 года — и в дни революции, и в годы войны, он вел его лежа в больнице, вел в экспедициях, в поездах: оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек.

Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал воскресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». В фантастических человеколюбленных идеях его был страстный протест против смерти, невозможность примириться с ней, подчиниться слепой разлагающей силе — природе. Так вот в федоровском смысле воссоздать Любищева, или «воскресить», можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку для этого имеется множество материалов, иначе говоря — параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени — где он был в такой-то день, что делал, что читал, кого видел.

Естественно, что из его архива меня прежде всего заинтересовали дневники.

Писателя всегда манят дневники, возможность прикоснуться к сокрытому бытию чужой души, проследить ее историю, увидеть время ее глазами. Любой дневник, что добросовестно ведется из года в год, становится драгоценным фактом литературы. «Всякая жизнь интересна,— писал Герцен,— не личность, так среда, страна

занимает, жизнь занимает...» Дневник требует всего лишь честности, раздумий и воли. Литературные способности иногда даже мешают беспристрастному свидетельству очевидца. Бесхитростные, самые простые житейские дневники — их, почему-то, так мало... Проходят годы, и вдруг выясняется, что события исторические, народные, протекавшие у всех на глазах, затронувшие тысячи и тысячи судеб, отражены в записях современников и бедно и скупо. Оказывается, что о ленинградской блокаде имеется считанное количество дневниковых, то есть самых насущных документов. Часть, очевидно, погибла, другие затерялись, но и велось их мало, вот в чем беда,— дневников всегда не хватает.

Дневники Александра Александровича Любищева сохранились не все, большая часть его архива до 1937 года, в том числе и дневники, пропала во время войны в Киеве. Уцелел первый том дневников — большая конторская книга, красиво отпечатанная на машинке красными и синими шрифтами, начатая первого января 1916 года. Дневники с 1937 года до последних дней жизни составили несколько толстых томов: уже не конторские книги, а школьные тетрадки, сшитые, затем переплетенные,— самодельно, некрасиво, но прочно.

Я листал их — то за шестидесятый год, то за семидесятый; заглянул в сороковой, в сорок первый — всюду было одно и то же. Увы, это были никакие не дневники. Повсюду я натыкался на краткий перечень сделанного за день, расцененный в часах и минутах и еще в каких-то непонятных цифрах. Я посмотрел довоенные дневники — и там записи того же типа. Ничего из того, что обычно составляет плоть дневников,— ни описаний, ни подробностей, ни размышлений.

«Ульяновск. 7. 4. 1964. Систем. энтомология: (два рисунка неизвестных видов Псиллиолес) — 3 ч. 15 м. Определение Псиллиолес — 20 м. (1,0)

Дополнительные работы: письмо Славе — 2 ч. 45 м. (0,5)

Общественные работы: заседание группы защиты растений — 2 ч. 25 м.

Отдых: письмо Игорю — 10 м.; Ульяновская правда — 10 м. Лев Толстой «Севастопольские рассказы» — 1 ч. 25 м.

Всего основной работы — 6 ч. 20 м.»

«Ульяновск. 8. 4. 1964. Систематическая энтомология: определение Псиллиолес, конец — 2 ч. 20 м. Начало сводки о Псиллиолес — 1 ч. 05 м. (1,0)

Дополнительные работы: письмо Давыдовой и Бляхеру, шесть стр.— 3 ч. 20 м. (0,5).

Передвижение — 0,5.

Отдых: брился. Ульяновская правда — 15 м. Известия — 10 м. Литгазета — 20 м.; А. Толстой «Упырь» — 66 стр.— 1 ч. 30 м. Слушал «Царскую невесту». Римский-Корсаков.

Всего основной работы — 6 ч. 45 м.»

Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло-деловыми записями по пять-семь строчек. Из этого и состояли дневники. По крайней мере таков был результат первого осмотра.

На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с ними еще, из этих сухих перечислений невозможно было выжать ни эмоций, ни любопытных деталей времени, язык их был бесцветно-однообразен, отсутствовала всякая интимность, они были почти начисто лишены горечи, восторга, юмора, подробности, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены:

«Вечером у нас трое Шустовых».
«Весь день дома, слабость после болезни».
«Два раза дождь, отчего не купался».

Читать дальше дневники не имело смысла.

Напоследок, любопытства ради, я посмотрел записи начала Отечественной войны.

«22. 6. 1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 часов...»

— и дальше обычная сводка сделанного.

«23. 6. 1941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство».

«29. 6. 1941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 ч. занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство... ...Итого 5 ч. 20 м.»

С тем же бесстрастием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 1941 года его эвакуируют с женой и внуком из Киева на пароходе. И там, на пароходе, он с той же краткостью неукоснительно регистрирует:

> «21. VII. 1941. Нападение немецкого самолета на пароход «Котовский» — бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан, ранено 4 человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Богруче, а поехал прямо на Кременчуг».

Печальные даты поражений сорок первого года и даты первых наших зимних побед почти не отражались в дневнике. События всеобщие словно бы не затрагивали автора. Май сорок пятого, послевоенное восстановление жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства... Ничто не попадало в эти ведомости. Происходили научные и ненаучные дискуссии, на биологическом фронте разыгрывались в те годы битвы поистине кровавые — Любищев не сторонился их, не укрывался; были моменты, когда он оказывался в центре сражения — его увольняли, прорабатывали, ему грозили,— но были и триумфы, были праздники, семейные радости — ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто, а Любищев был связан и с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах — и ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской чувствительности дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничто не в состоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не знай я Любищева, дневники эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и собственной души. Но, зная автора, я тем более изумился и захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот — ну пусть не дневник, а учет своего времени и дел, что мог такой перечень дать своему хозяину? Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили Шустовы, ну и что из этого? Стиль записей предназначался не

для напоминаний, не было в нем и зашифрованности. При том это был дневник не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя.

Но если это не дневник, тогда что же и для чего?

Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичное впечатление: сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда, я убежден, что если зафиксировать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи, разных глупых, абсурдных предположений.

Не существует никаких правил для ведения дневников, тем не менее это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут «учет времени». Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени.

Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять, уже на основании месячных отчетов, составлялся годовой отчет, сводные таблицы.

Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашиком то так, то этак, и сбоку какие-то цифирки, что-то складывалось, умножалось.

Что все это означало? Спросить было некого. Любищев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал, отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям. Но там были итоги, результаты.

На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером, перед сном, человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог — время, израсходованное на основную работу. Казалось бы, чего проще! Но сразу же возникали вопросы — что считать основной работой, зачем учитывать остальное время, да еще так подробно, что вообще дает такой хронометраж, что означают какие-то цифры-половинки и единички, расставляемые в течение дня и т. п.

И был еще вопрос — стоит ли разбираться в этой системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответа на эти вопросы. С какой стати?.. Я спрашивал себя —

и тем не менее продолжал вникать, ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону.

Глава пятая—о времени и о себе

«Все, о Люцилии, не наше, а чужое, только время наша собственность,— писал Сенека.— Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок, может отнять у нас всякий, кто этого захочет... Люди решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя? Признаюсь, я поступаю, как люди расточительные, но аккуратные — веду счет своим издержкам. Не могу сказать, что бы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, и каким образом, и почему».

Так еще в самом начале нашей эры научные работники,— а Сенеку можно вполне считать научным работником,— вели счет своему времени и старались экономить его. Философы, то есть древние философы, первыми поняли ценность времени — они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно доставляло людям огорчение своей быстротечностью.

Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было некуда. Что они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерить его как следует не умели, а значит, и не берегли. Прогресс — он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — «молнии», вместе гусиного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возраста-

ет. Деловой человек наращивает скорости, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, он и говорить старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон, а дефицит времени увеличивается. Не только у него — цейтнот становится всеобщим. Недостает времени на друзей, на письма, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не думая постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев, нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке, точные, выверенные, у всех стоят будильники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад, при том же Сенеке: «большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо». Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти две тысячи лет положение, конечно, несколько исправилось, появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что время нельзя повернуть вспять, а также хранить, сдавать его излишки в хранилища и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно Время. Бывает, что ему вовсе не на что тратить, а приходится. Время — его нельзя не тратить, и транжирят его куда попало, на всякую ерунду, человека насильно заставляют производить затраты, двигаться в этом все уносящем темном потоке Леты.

Известно, что люди счастливые не наблюдают часов, верно и другое — что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако Любищев добровольно, не по службе, не по какой-то нужде, взял на себя несчастливую обязанность «наблюдать часы».

Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое

свое действие — отдых, чтение газет, прогулки он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с первого января 1916 года. Ему было тогда 26 лет, он служил в армии, в Химическом комитете, у известного химика Владимира Николаевича Ипатьева. Был Новый год, и Любищев дал себе обет, как всегда дают в этот день, с чем-то покончить и что-то начать.

Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там система еще примитивная, и дневник иной — он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно, в дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде.

Как бы там ни было, с 1916 года по 1972-й, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой.

Сама по себе верность Любищева своей системе — явление исключительное, само наличие такого дневника, может быть, единственно в своем роде.

Несомненно, что с годами у Любищева от непрестанного слежения за временем выработалось специальное чувство времени: биологические часы, тикающие в глубинах нашего организма, стали у него органом и чувства и сознания. Я сужу по записям о наших с ним беседах, они отмечены со всей точностью: «1 ч. 35 м.», «1 ч. 50 м.»,— при этом он, разумеется, не смотрел на часы. Мы с ним гуляли, я провожал его, и каким-то внутренним взором он чувствовал бег стрелки по циферблату,— поток времени был для него осязаемым, он как бы стоял посреди этого потока, ощущая его холодные струи.

Просматривая его рукопись «О перспективах применения математики в биологии», я нашел на последней странице «цену» этой статьи:

> «Подготовка (план, просмотр рукописей и литературы) . . . . 14 ч. 30 м.
> Писал . . . . 29 ч. 15 м.
> Всего потратил . . . . 43 ч. 45 м.
> Восемь дней, с 12 по 19 октября 1921 г.»

Следовательно, уже в 1921 году он имел учет времени, потраченного на работу.

Имел и умел вести этот учет.

Иногда на рукописи ставят дату окончания, реже — число, еще реже — с какого по какое писалось, но затраченные часы — это я увидел впервые.

У Любищева была подсчитана «стоимость» каждой статьи. Каким образом шел этот подсчет? Оказывается, никакого специального подсчета не было — его система, словно компьютер, выдавала ему эти данные: на статью, на прочитанную книгу, на написанное письмо — буквально все оказывалось сосчитанным.

...И времени стало меньше, и цена на него поднялась. Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое это Время, потому что жизнь состоит из Времени, складывается из часов и минут. Современный человек так или иначе планирует свое дорогое, дефицитное, ни на что не хватающее время. Как и все, я тоже составляю список предстоящих дел, чтобы разумнее распределить время, я тоже планирую время на неделю, иногда на месяц, отмечаю выполнение. Люди организованные, волевые — те анализируют прожитый день, выясняют, как рационально расходовать время. Правда, только рабочее время, но и то для меня такие люди — положительные герои. У меня не хватило бы воли заниматься этим, да и что тут приятного! Подозреваю, что картина может получиться удручающая. Стоит ли без особой на то нужды терять самоуважение? Одно дело упрекать себя за неорганизованность, за неумение регламентировать свою жизнь, и другое — знать все это про себя в часах и минутах. Когда мы искренне уверены, что стараемся сделать как можно больше, добросовестно вкалываем, и вдруг нам преподносят, что полезной-то работы было, может, час-полтора, а остальное ушло, расползлось, просыпалось на беготню, разговоры, ожидание, бог знает куда. А ведь дорожили каждой минутой, отказывали себе в развлечениях...

Появились специалисты по экономии времени, специальные методические пособия. Больше всего занимаются этим для руководителей предприятий. Подсчитано, что их время самое дорогое.

Научный наставник американских менеджеров Питер Друкер рекомендует каждому руководителю вести точную регистрацию своего времени, оговариваясь, что

это весьма трудно и что большинство людей такой регистрации не выдерживает:

«Я заставляю себя обращаться с просьбой к моему секретарю через каждые девять месяцев вести учет моего времени в течение трех недель... Я обещаю себе и обещаю ей письменно (она настаивает на этом), что я не уволю, когда она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю: «Этого не может быть, я знаю, что теряю много времени, но не может быть, чтобы так много...» Хотел бы я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета!»

Питер Друкер уверен, что вызов его никто не примет. Он профессионал и знает это на своем опыте мужественного человека. Решиться на такой анализ способны немногие. Это требует бóльших усилий души, чем исповедь. Открыться перед богом легче, чем перед людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед всеми и перед собой со своими слабостями, пороками, пустотой... Друкер прав,— рассматривать себя пристально и беспощадно умели разве что такие люди, как Жан-Жак Руссо или Лев Толстой.

Здесь, конечно, речь идет о меньшем — увидеть свое профессиональное «я», но и на это отваживаются единицы.

Любищев не был администратором, организатором: ни его должность, ни окружающие люди не требовали от него подобного режима. У него не было возможности препоручить регистрацию своего времени секретарше. Мало того, что он вел самолично каждодневный учет,— он сам подводил итоги, беспощадно подробные, ничего не утаивая и не смягчая, составлял планы, где старался распределить вперед, на месяц каждый свой час. Словом, вся его система сама по себе требовала изрядного времени. Спрашивается — чего ради стоило ее вести? Какой смысл имело обрекать себя на эту добровольную каторгу? — недоумевали его друзья. Он отделывался весьма общим ответом: «Я к этой системе учета своего времени привык и без этой системы работать не могу». Но для чего было привыкать к этой системе? Для чего было создавать ее? То есть для чего она вообще нужна и полезна деловому человеку — понятно, общие рекомендации нам всегда понятны, но вот почему именно он, Любищев, пошел на это, что его заставило?

Глава шестая, в которой автор хочет добраться до основ, понять, с чего все началось

В 1918 году Александр Любищев ушел из армии и занялся чисто научной работой. К этому времени он сформулировал цель своей жизни: создать естественную систему организмов.

> **«Для установления такой системы необходимо отыскать что-то аналогичное атомным весам, что я думаю найти путем математического изучения кривых в строении организмов, не имеющих непосредственно функционального значения...** — так писал Александр Александрович в 1918 году,**—математические трудности этой работы, по-видимому, чрезвычайно значительны... К выполнению этой главной задачи мне придется приступить не раньше, чем через лет пять, когда удастся солиднее заложить математический фундамент... Я задался целью со временем написать математическую биологию, в которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии».**

В те годы идеи его были встречены прохладно. А надо заметить, что Таврический университет в Симферополе, куда приехал работать Любищев, собрал у себя поистине блестящий состав: математики Н. Крылов, В. Смирнов, астроном О. Струве, химик А. Байков, геолог С. Обручев, минералог В. Вернадский, физики Я. Френкель, И. Тамм, лесовод Г. Морозов, естественники Владимир и Александр Палладины, П. Сушкин, Г. Высоцкий и, наконец, учитель Любищева, человек, которого он почитал всю жизнь,— Александр Гаврилович Гурвич.

Сомнения корифеев не смутили молодого преподавателя. С годами уточнялись подходы, кое-что приходилось пересматривать, но общая задача не менялась — раз начав, он всю жизнь следовал поставленной цели.

Согласно легенде, Шлиману было восемь лет, когда он поклялся найти Трою. Пример со Шлиманом широко известен еще и потому, что подобная прямолинейная пожизненная нацеленность — в науке редкость. Любищев в двадцать с лишним лет, начиная свою научную работу, тоже точно знал, чего он хочет. Счастливая и необычная судьба! Он сам сформулировал программу своей работы и предопределил тем самым весь характер своей деятельности фактически до конца дней.

Хорошо ли это — так жестко запрограммировать свою жизнь? Ограничить. Надеть шоры. Упустить иные возможности. Иссушить себя...

А вот оказывается, и это примечательно, что судьба Любищева — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте. И сам он себя считал счастливым, и в глазах окружающих жизнь его была завидна своей целеустремленностью.

Двадцатитрехлетний Вернадский писал, что ставит себе целью быть «возможно могущественнее умом, знаниями, талантами, когда мой ум будет невозможно разнообразно занят...» И в другом месте: «Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают меня... И это искание, это стремление — есть основа всякой научной деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ; ...ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была».

Они всегда волнуют, эти молодые клятвы: Герцен, Огарев, Кропоткин, Мечников, Бехтерев — поколения русских интеллигентов клялись себе посвятить жизнь борьбе за правду. Каждый выбирал свой путь, но нечто общее связывало их, таких разных людей. Это не сведешь к преданности, допустим, науке, да и никто из них

не жил одной наукой. Они все занимались и историей, и эстетикой, философией. История нравственных исканий русских писателей известна. У русских ученых была не менее интересная и глубокая история их этических поисков.

Но одно дело поклясться в верности науке, пусть своей любимой науке, а другое — поставить себе конкретную цель.

А если Трои не было? Если она рождена фантазией Гомера? Значит, жизнь, потраченная Шлиманом на поиск, уйдет впустую?

А если цель, поставленная Любищевым, недостижима, в принципе недостижима? Если где-то лет через двадцать окажется, что создать такую естественную систему организмов невозможно? Или что современный математический аппарат для этого не годится? Тогда, выходит, все эти годы ушли зазря, цель была ложной, вместо цели — бесцельность.

Ну что же, риск? Нет, тут пострашнее чем риск, тут на карту ставилась будущность, талант, надежды — лучшее, что есть в человеческой жизни. Кто знает, сколько их, мечтателей, сгинуло, не одолев несбыточных целей!

Фанатичность, нетерпимость, аскетизм — чем только не приходится платить ученым за свою мечту!

Одержимость в науке — вещь опасная: может, для иных натур — необходимая, неизбежная, но уж больно велики издержки; люди одержимые причинили немало вреда в науке, одержимость мешала критически оценивать происходящее даже таким гениям, как Ньютон,— достаточно вспомнить несправедливости, причиненные им Гуку.

В молодости положительным героем для Любищева был Базаров с его нигилизмом, рационализмом. Многие однокашники Любищева подражали в те годы Базарову. Вот, между прочим, пример активного воздействия литературного героя не на одно, а на несколько поколений русской интеллигенции! Подобно Базарову, в молодости они считали сто́ящими естественные науки, а всякую историю и философию — чепухой. Между прочим, литературу — тоже. Молодой Любищев признавал литературу лишь как средство для лучшего изучения иностранных языков: «Анну Каренину» он читал по-немецки, **«так как переводной язык легче оригинального».**

Все было подчинено биологии, что не способствова-

ло — отбрасывалось. Он мечтал стать подвижником и действовал по банальным рецептам героизма: прежде всего работа, все для дела, во имя дела разрешается пожертвовать чем угодно. Дело заменяло этику, определяло этику, было этикой, снимало все проблемы бытия, философии, ради дела можно было пренебречь всеми радостями и красками мира.

Взамен он получал превосходство самопожертвования.

Это был знакомый нам культ науки. Биологическая задача, которой он служил, была достаточно важной, остальное его не касалось. Наука требовала максимальных усилий, жесточайшего самоограничения. Либо — либо. Обычная крайность. Либо — святой, герой, либо — обыватель, мироед, личность по всем статьям недостойная. У нас середины не бывает. Если не можешь служить примером, идеалом, тогда уж все равно — быть ли обманщиком или честным ученым, интересоваться искусством или быть невеждой, хамом... Признается лишь совершенство, а то, что человек добросовестный, порядочный — этого мало.

Любищев начинал обыкновенно — как все в молодости — он жаждал совершить подвиг, стать Рахметовым, стать сверхчеловеком. Лишь постепенно он пробивался к естественности — к человеческим слабостям, он находил силы идти еще дальше, забираться все круче — к простой человечности.

Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить в нем.

Лучше и для людей и для той же науки.

Преимущество Любищева состояло прежде всего в том, что он понимал такие вещи намного раньше остальных.

Помогла ему в этом его же работа. Она потребовала... Но, впрочем, это было позднее, на первых же порах она требовала, по всем подсчетам,— а Любищев любил и умел считать,— сил, несоизмеримых с нормальными, человеческими, и времени больше, чем располагает человек в этой жизни. То есть он, конечно, был уверен, что одолеет, но для этого надо было откуда-то взять добавочные силы и добавочное время.

Глава седьмая — о том, с чего начиналась Система

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь усвоением новых фактов, чисто технической работой и проч. Если прибавить к этому мой оптимизм, унаследованный мной от моего незабвенного отца, то и получится, что я писал «под спуд» многое, на публикацию чего я вовсе не рассчитывал. Конспектирование серьезных вещей я делаю очень тщательно, даже теперь я трачу на это очень много времени. У меня накопился огромный архив. При этом для наиболее важных работ я пишу конспект, а затем критический разбор. Поэтому многое у меня есть в резерве, и когда оказывается возможность печатать, все это вытаскивается из резерва, и статья пишется очень быстро, т. к. фактически она просто извлекается из фонда.

В моей молодости мой метод работы приводил к некоторой отсталости, так как я успевал прочитывать меньше книг, чем мои товарищи, работавшие с книгой более поверхностно. Но при поверхностной работе многое интересное не усваивается и прочтенное быстро забывается. При моей же форме работы о книге остается вполне отчетливое, стойкое впечатление. Поэтому с годами мой арсенал становится гораздо богаче арсенала моих товарищей».

С годами вырисовывались преимущества не только этого приема, но и многих других методов его работы. Как будто все у него было рассчитано и задумано на десятилетия вперед. Как будто и долголетие его тоже было предусмотрено и входило в его расчеты.

Все его планы, даже самый последний, пятилетний план, составлялись им из предположения, что надо прожить по крайней мере до девяноста лет.

Но до этого далеко — пока что он стремится использовать каждую минуту, любые так называемые «отбросы

времени»: поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди...

Еще в Крыму он обратил внимание на гречанок, которые вязали на ходу.

Он использует каждую пешую прогулку для сбора насекомых. На тех съездах, заседаниях, где много пустой болтовни, он решает задачки.

Утилизация «отбросов времени» у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык, он, например, усвоил главным образом в «отбросах времени».

> «Когда я работал в ВИЗРа, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг, если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось исходя из прошлого опыта.
>
> Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу (по философии, по математике). Когда я проработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению — историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику.
>
> Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ним миришься; во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях.
>
> Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-либо конечного пункта (напр. в Ленинграде), то можно сидеть, следовательно, можно не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и висишь, то тут нужна небольшая книжечка и более легкая для чтения. Сейчас в Ленинграде много народу читает в трамваях».

Но «отбросов» было немного. А между тем времени требовалось все больше.

Углубление работы приводило к ее расширению. На-

до было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии.

Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, что зачем-то ему необходима музыка...

Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по четырнадцать-пятнадцать часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать *рабочее* время. Находить время внутри времени.

Практически, как убедился Любищев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не больше семи-восьми часов.

Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до 5 минут.

> «Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто,— писал Любищев.— Время нетто получается гораздо меньше количества времени, которое получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой.
>
> Часто люди говорят, что они работают по 14—15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 мин. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7—8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брутто, то надо прибавить процентов 25—30. Постепенно я совершенствовал свой учет и в конце концов пришел к той системе, которая имеется сейчас...
>
> Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он

тратит время на стандартное времяпрепровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12—13 часов брутто можно использовать на нестандартные способы времяпрепровождения: на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечения и т. д.»

Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик. На свежую голову надо заниматься математикой, при усталости — чтением книг.

Надо было научиться отстраняться от окружающей среды, чтобы три часа, проведенные за работой, соответствовали трем рабочим часам,— не отвлекаться, не думать о постороннем...

Система могла существовать при постоянном учете и контроле. План без учета был бы нелепостью, вроде той, что совершают в некоторых институтах, планируя без заботы о том, можно ли выполнить этот план.

Надо было научиться учитывать в с е в р е м я.

Деятельное время суток, «нетто», он принял за десять часов; делил его на три части, или шесть половинок, и учитывал с точностью до десяти минут.

Он старался выполнить все намеченное количество работ, кроме работ первой категории, то есть самых творчески насыщенных.

Первая категория состояла из главной работы (над книгой, исследованием) и текущей (чтение литературы, заметки, письма).

Вторая категория включала научные доклады, лекции, симпозиумы, чтение художественной литературы — то есть то, что не являлось прямой научной работой.

Возьмем, к примеру, любую дневниковую запись, летний день 1965 года.

«Сосногорск. 0,5. Осн. научн. (библиогр.— 15 м. Добржанский — 1 ч. 15 м.) Систематич. энтомология, экскурсия — 2 ч. 30 м., установка двух ловушек — 20 м., разбор — 1 ч. 55 м. Отдых, купался первый раз в Ухте. Извест.

20 м. Мед. газ. 15 м. Гофман. «Золотой горшок» — 1 ч. 30 м. Письмо Андрону — 15 м. Всего 6 ч. 15 м.»

Прослежен, разнесен весь день, вплоть до чтения газет.

Что такое «Всего 6 ч. 15 м.»? Это, как видно из записи, сумма работ только первой категории. Остальное учтенное время—работа второй категории и прочее. Каждый день суммировалась работа первой категории. Затем она складывалась за месяц. Например, за этот август 1965 года набралось 136 часов 45 минут рабочего времени первой категории. Из чего состояли эти часы? Пожалуйста, все сведения имеются в месячном отчете.

«Основная научная работа	— 59 ч. 45 м.
Систематич. энтомология	— 20 ч. 55 м.
Дополнит. работы	— 50 ч. 25 м.
Орг. работы	— 5 ч. 40 м.
Итого	— 136 ч. 45 м.»

А что такое «Основная научная работа», эти 59 ч. 45 м.? На что они были потрачены? Опять же все расшифровано в отчете:

«1. По таксонам — эскиз доклада «Логика системы»	— 6 ч. 25 м.
2. Разное	— 1 ч. 30 м.
3. Корректура «Дадонологии»	— 30 м.
4. Математика	— 16 ч. 40 м.
5. Текущая литература: Ляпунов	— 55 м.
6. — » — Биология	— 12 ч. 00 м.
7. Научные письма	— 11 ч. 55 м.
8. Научные заметки	— 3 ч. 25 м.
9. Библиография	— 6 ч. 55 м.
Итого	60 ч. 15 м.»

Можно пойти дальше, взять любой из этих пунктов. Допустим, пункт шестой, текущая литература: биология — 12 часов. Оказывается, известно и записано с точностью до минуты, на что они были «израсходованы»:

1. Добржанский «Мейнкайнд Эвольвинг». 372 стр., кончил читать (Всего 16 ч. 55 м.) — 6 ч. 45 м.

2. Анош Карой «Думают ли животные», 91 стр. — 2 ч. 00 м.
3. Рукопись Р. Берг. — 2 ч. 00 м.
4. Некоро З., Осверхдо... 17 стр. — 40 м.
5. Рукопись Ратнера — 35 м.

Итого 12 ч. 00 м.»

Большинство научных книг конспектировалось, а некоторые подвергались критическому разбору. Все выписки и комментарии регулярно подшивались в общий том. Эти тома, напечатанные на машинке — как бы итоги чтения,— составили библиотеку освоенного. Достаточно перелистать конспект, чтобы вспомнить нужное из книги.

У Любищева было редкое умение извлечь у автора все оригинальное. Иногда для этого хватало странички. Иные солидные книги сводились к нескольким страничкам. Сущность их никак не соответствовала объему.

Кроме работ первой категории, учитывались с той же подробностью и работы второй категории. Скрупулезность эту объяснить было труднее. С какой стати нужно выписывать и подсчитывать, что на чтение художественной литературы затрачено 23 часа 50 минут! Из них: **«Гофман, 258 стр.— 6 часов»; «книга о Гофмане Мирильского — 1 ч. 30м.»** и т. д. и т. п.

Далее восемь английских названий, всего 530 страниц.

Написано семь плановых (!) писем.

Прочитано газет и журналов на столько-то часов, письма родным — столько-то часов.

Можно было считать такие подробности излишеством, тогда спрашивается, к чему из года в год производить анализ времени, от которого никакой пользы, только зря на него тратится время.

Выясняется, однако, что для Системы нужно было знать все деятельное время, со всеми его закоулками и пробелами. Система не признавала времени, негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего. И нет времени отдыха: отдых — это смена занятий, это как правильный севооборот на поле.

Ну что ж, в этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни, они все равноправны, и за каждый надо отчитаться.

Отчет — это отчет перед намеченным планом. Отчет — и сразу план на следующий месяц. Что, для при-

мера, было в плане сентября 1965 года? Намечено: 10 дней в Новосибирске, 18 дней — в Ульяновске, 2 дня — в дороге. Далее: сколько часов на какую работу затратить. В подробностях. Допустим, письма: 24 адреса — 38 часов. Список нужной литературы, которую надо прочесть; что сделать по фотографии; кому написать отзыв.

Хотя бы грубо распределялось время по плану работ, предложенному службой, институтом, по прежнему опыту...

> «При составлении годовых и месячных планов приходится руководствоваться накопленным опытом. Например, я планирую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в час я прочитываю 20—30 страниц. На основании старого опыта я и планирую. Напротив, по математике я планирую прочитать 4—5 стр. в час, а иногда и меньше страниц.
>
> Все прочитанное я стараюсь проработать. В чем заключается проработка? Если книга касается нового предмета, мало мне известного, то я стараюсь ее проконспектировать. Стараюсь на каждую более или менее серьезную книгу написать критический реферат. На основе прошлого опыта можно наметить для проработки известное количество книг».
>
> «При серьезном отношении к делу обычно отклонение фактически проработанного времени от намеченного бывает в 10%. Часто бывает, что не удается проработать намеченное количество книг, создается большая задолженность. Часто появляются новые интересы, а потому задолженность бывает велика, и скоро ликвидировать ее невозможно, а потому имеет место невыполнение плана. Бывает невыполнение плана по причине временного упадка работоспособности. Бывают внешние причины невыполнения плана, но во всяком случае мне ясно, что планировать свою работу необходимо, и я думаю, что многое из того, чего я достиг, объясняется моей системой».

Время, что оставалось для основных работ, планировалось: подготовка к лекциям, экология, энтомология и другие научные работы. Обычно работа второй катего-

рии превышала работы первой категории процентов на десять.

Всякий раз меня поражала точность, с какой выполнялся план. Случалось, разумеется, и непредвиденное. В отчете за 1938 год Любищев пишет, что работы первой категории не выполнены на 28 процентов:

> «Главная причина — болезни Оли и Вали, отчего увеличилось общение с людьми».

Время у него похоже на материю — оно не пропадает бесследно, не уничтожается; всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча.

Годовой отчет — уже многостраничная ведомость, целая тетрадь. Там расписано буквально все. В том же 1938 году: сколько заняла экология, энтомология, оргработа, Зообиологический институт, Плодоягодный институт в Китаеве; сколько времени ушло на общение с людьми, передвижение, домашние дела.

Из этого отчета можно узнать, сколько было прочитано, каких книг и сколько страниц художественной литературы на разных языках. Оказывается, за год — 9000 страниц. Потребовалось на них — 247 часов.

Написано за тот же год 552 страницы научных трудов, из них напечатано 152 страницы.

По всем правилам статистики Любищев исследует свой минувший год. Материалов достаточно — это месячные отчеты.

Теперь надо составить годовой план. Он составляется с грубой прикидкой, исходя из задач года.

> «Центральный пункт — (1968 год) международный энтомологический конгресс в Москве, в августе, где думаю сделать доклад о задачах и путях эмпирической систематики».

Он пишет, какие статьи надо закончить к конгрессу, что сделать по определению вида Халтика. Сколько дней пробыть в Ульяновске, в Москве, в Ленинграде. Сколько написать страниц основной в эти годы работы «Линии Демокрита и Платона», сколько по таксономии и эволюции — «О будущем систематики». После этого и следует грубое распределение времени в условных единицах.

«Работа 1-й категории	570 (564,5)
Передвижение	140 (142,0)

Общение	**130 (129)**
Личные дела	**10 (8,5)»**

И так далее, всего — 1095.

В скобках проставлено исполнение. Совпадаемость показывает, как точно он мог планировать свою жизнь на год вперед.

В отчете он придирчиво отмечает:

> **«Учтенных работ первой категории 564,5 против плана 570, дефицит 5,5 или 1,0%».**

То есть все сошлось с точностью до одного процента!

Хотя в месячном отчете есть все подробности, тем не менее в годовом все сделанное, прочитанное, увиденное разбито на группы, подгруппы. Тут и работа и отдых — буквально все, что происходило в минувшем году.

«Развлечение — 65 раз», и следует список просмотренных спектаклей, концертов, выставок, кинокартин.

Шестьдесят пять раз — много или мало?

Кажется, что много; впрочем, боюсь утверждать,— ведь я не знаю, с чем сравнивать. С моим личным опытом? Но в том-то и штука, что я не подсчитывал и не представляю, сколько раз в году я посещаю кино, выставки, театр. Хотя бы приблизительную цифру не берусь сразу назвать, тем более динамику: как у меня с возрастом меняется эта цифра и сколько книг я читаю. Больше я стал читать с годами или меньше? Как меняется процент научных книг, беллетристики? Сколько я пишу писем? Сколько я вообще пишу? Сколько времени в год уходит на дорогу, на общение, на спорт?

Ничего достоверного я не знаю. О самом себе. Как я меняюсь, как меняется моя работоспособность, мои вкусы, интересы... То есть мне казалось, что я знал о себе,— пока не столкнулся с отчетами Любищева и не понял, что, в сущности, ничего не знаю, понятия не имею.

> **«...Всего в 1966 году учитывалось работ первой категории — 1906 часов против плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение на 27 часов. В среднем в день 5,22 часа или 5 ч. 13 м.»**

Представляете — пять часов тринадцать минут чистой научной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в течение года! Пять часов чистой работы, то есть никаких перекуров, разговоров, хождений. Это, если вдуматься, огромная цифра.

А вот как выглядит итог на протяжении ряда лет:

«1937 г. — 1840 часов
1938 г. — 1402 часа
1939 г. — 1362 часа
1940 г. — 1560 часов
1941 г. — 1342 часа
1942 г. — 1446 часов
1943 г. — 1612 часов» и так далее.

Это часы основной научной работы, не считая всей прочей, вспомогательной. Часы, занятые созданием, размышлением...

Ни на одной, самой тяжелой, работе не было, наверное, такого режима — его может установить человек для себя только сам.

Любищев работает побольше иных рабочих. Он мог бы, подобно Александру Дюма, в доказательство поднять свои руки, показывая мозоли. Написать полторы тысячи страниц за год! Отпечатать 420 фотоснимков! Это — в 1967 году. Ему уже семьдесят семь лет.

«На русском языке прочитано 50 книг — 48 часов
На английском » » 2 книги — 5 часов
На французском » » 3 книги — 24 часа
На немецком » » 2 книги — 20 часов
Сдано в печать семь статей...»

«...Долгое пребывание в больнице отразилось, конечно, в превышении чтения, но план главной работы перевыполнен, хотя многое не было сделано. Так, например, статья «Наука и религия» заняла в пять раз больше времени, чем предполагалось».

Подробности годовых отчетов напоминают отчет целого предприятия. С каким вкусом и наглядностью очерчен силуэт утекшего времени, все эти таблицы, коэффициенты, диаграммы. Недаром Любищев считался одним из крупнейших систематиков и специалистов по математической статистике.

В числе прочего имелся переходящий остаток непрочитанных книг — задолженность:

«Дарвин Э. «Храм природы»	5 ч.
Де Бройль «Революция в физике»	10 ч.
Трингер «Биология и информация»	10 ч.
Добржанский	20 ч.»

Списки задолженности возобновляются из года в год, очередь не убывает.

Есть сведения неожиданные: купался 43 раза, общение — 151 час, больше всего понравились такие-то фильмы...

Читать его отчеты скучновато, изучать — интересно.

Все же как невероятно много может сделать, увидеть, узнать человек за год! Каждый отчет — это демонстрация человеческих возможностей, каждый отчет вызывает гордость за человеческую энергию. Сколько она способна создать, если ее умно использовать! И, кроме того, впервые я увидел, какую колоссальную емкость имеет один год.

Кроме годового планирования, Любищев планировал свою жизнь на пятилетки. Через каждые пять лет он устраивает разбор прожитого и сделанного, дает, так сказать, общую характеристику.

> **«...1964—1968 годы... По Халтику: сделал очень много, но если я монографию палеартич. Халтика закончу в следующую пятилетку, то буду очень доволен. Коллекцию кончил, однако до нахождения расстояния между рядами не мечтаю и в следующей пятилетке... Таким образом, хотя ни по одному разделу я не выполнил формально и половины, тем не менее по всем заметно продвинулся...»**

Обычно он работал широким фронтом. Пятилетка, о которой шла речь, была занята математикой, таксономией, эволюцией, энтомологией и историей науки. Поэтому и отчеты и планы состоят из многих разделов, подразделов.

Учет, конечно, хорош, и все же, простите, на кой ляд это все надо, не лучше ли потратить это время на дело? Не съедают ли эти отчеты сэкономленное время?

Множество разных ироничных вопросов возникает, несмотря на наше восхищение и удивление.

Прежде всего, конечно, в глубине души обязательно

прозвучит с ехидством: а кому нужна такая отчетность? Кто, собственно говоря, ее читает? И перед кем, извините, обязан он отчитываться, да еще в письменном виде?

Потому как, что бы там ни говорилось, душа не принимала все эти отчеты просто как работу добровольную, ради своего потребления,— все искались какие-то тайные причины и поводы. Что угодно, кроме самовнимания — казалось бы, естественнейшего внимания и интереса к себе, ко внутреннему своему миру. Изучать самого себя? Странно. Все же он чудак. Наилучшее утешение — считать его чудаком: мало ли бывает на свете чудаков...

Глава восьмая—о том, сколько все это стоит и стоит ли оно этого...

Сколько же времени занимали эти отчеты? И этот расход, оказывается, был учтен. В конце каждого отчета проставлена стоимость отчета в часах и минутах. На подробные месячные отчеты уходило от полутора до трех часов. Всего-навсего. Плюс план на следующий месяц — один час. Итого: три часа из месячного бюджета в триста часов. Один процент, от силы два процента. Потому что все зиждилось на ежедневных записях. Они занимали несколько минут, не больше. Казалось бы, так легко, доступно любому желающему... Привычка почти механическая — как заводить часы.

Годовые отчеты отнимали побольше, семнадцать-двадцать часов, то есть несколько дней.

Тут требовался самоанализ, самоизучение: как меняется производительность, что не удается, почему...

Любищев вглядывается в отчет, как в зеркало. Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувшее. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, не важно, какое — главное, что принимает. Он — тот, каким хочет казаться. Дневник тоже искажает, там не увидеть подлинного отражения души.

У Любищева отчет беспристрастно отражал историю прожитого года. Его Система в свои мелкие ячеи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает невесть куда.

Что мы удерживаем в памяти? События. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между вехами — пусто... К примеру, куда делись эти последние месяцы моей жизни с тех пор, как я стал писать о Любищеве? Собственно, работы за столом было немного,— на что же ушли дни? Ведь что-то я делал, все время был занят, а чем именно — не вспомнишь. Суета или необходимое — чем отчитаться за эти девяносто дней? Если бы только эти месяцы... Когда-то, в молодости, под Новый год, я спохватывался: год промелькнул, и опять я не успел сделать обещанного себе, да и другим — не кончил романа, не поехал в Новгородчину, не ответил на письма, не встретился, не сделал... Откладывал, откладывал, и вот уже откладывать некуда.

Теперь стараюсь не оглядываться. Пусть идет как идет, что сделано — то и ладно. Перечень долгов стал слишком велик.

Конечно, признавать себя банкротом тоже не хочется. Лучше всего об этом не думать. Самое умное — это не размышлять над собственной жизнью.

Упрекать себя Любищевым? Это еще надо разобраться. От таких учетов и отчетов человек, может, черствеет, может, от рационализма и расписаний организм превращается в механизм, исчезает фантазия. И без того со всех сторон нас теснят планы — план учебы, программа передач, план отдела, план отпусков, расписание хоккейных игр, план изданий. Куда ни ткнешься, все заранее расписано. Неожиданное стало редкостью. Приключений — никаких. Случайности — и те исчезают. Происшествия — и те умещаются раз в неделю на последней странице газеты.

Стоит ли заранее планировать свою жизнь по часам и минутам, ставить ее на конвейер? Разве приятно иметь перед глазами счетчик, безостановочно учитывающий все промахи, и поблажки, какие даешь себе!

Легенда о шагреневой коже — одна из самых страшных. Нет, нет, человеку лучше избегать прямых, внеслужебных отношений со Временем, тем более что это проклятое Время не поддается никаким обходам и самые знаменитые философы терялись перед его черной, все поглощающей бездной...

Систему Любищева было легче отвергнуть, чем понять, тем более что он никому не навязывал ее, не рекомендовал для всеобщего пользования — она была его

личным приспособлением, удобным и незаметным, как очки, обкуренная трубка, палка...

А может, она, эта система, была постоянным преодолением? Или, кто знает, многолетней полемикой?.. С чем? С обычной жизнью. С желанием расслабиться и жить расточительно, не считая минут, как жили все люди вокруг него.

Глава девятая, где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех

Из отчетов, дневников, отчасти из писем передо мною возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни. Робот. Подвижник системы.

В 1942 году, когда пришло известие о гибели сына Всеволода, Александр Александрович, несмотря на горе, неукоснительно продолжал свои работы.

План на 1942 год предусматривал:

> «...1) Я буду весь год в Пржевальске. 2) Не буду иметь совместительства. 3) Не буду лично вести интенсивной работы по прикладной энтомологии, ограничусь руководством и обследованием фауны Иссык-Кульской области... Исходя из этого, можно общий объем работы первой категории планировать на уровне 1937 года (рекордный год по эффективности), но т. к., во-первых, в связи с войной возможность напечатания исключается, во-вторых, вероятна полная гибель моего научного архива в Киеве, в-третьих, необходимо по моему возрасту приступать, не откладывая, к выполнению основного плана моей жизни — «Теоретическая систематика и общая натурфилософия»,— то на 1942 год по основной работе не намечено окончания каких-либо научных работ, кроме трех небольших докладов научно-политического характера».

Запланировал и выполнил, 1942 год был одним из эффективных. Личная трагедия как бы не повлияла на работоспособность.

Пора, пора «приступить, не откладывая»: он словно бы вычислил, сколько ему остается, чтобы «замкнуть круг».

Личная жизнь с ее переживаниями не должна мешать работе — переживаниям и прочим волнениям и горестям отведен свой час под рубрикой «домашние дела».

Я огрубляю, хотя тридцатилетний кандидат технических наук, начальник лаборатории телеуправления НИИ номер такой-то сказал мне, что это не огрубление, а подчеркивание нужных качеств. Слезами горю не поможешь, сказал он, чем раньше человек может взять себя в руки, тем лучше; скорбь по умершим — остаток религиозных чувств, мертвого не оживишь — какой же смысл скорбеть?

— Церемония похорон устарела,— сказал он.— Согласитесь, что прочувствованные эти речи на гражданских панихидах только растравляют души родным, утешения от речей никакого. Процедура не рациональная. Современный человек должен быть рационалистом, а мы стесняемся нашего разума, думаем смягчить себя сантиментами.

Он предлагал мне показать в Любищеве идеальный тип современного ученого. Максимально организованного, недоступного лишним эмоциям, умеющего выжать все, что только можно из окружающих обстоятельств, и при этом, разумеется, благородного, порядочного...

— ...Между прочим, это, к вашему сведению,— следствие разума. Воля и Разум — вот два решающих качества. Ныне чего-то достигнуть в науке можно, если есть железная воля, действующая в упряжке с Разумом. Ругают рационалистов, а собственно почему? Что плохого, если все — от ума? Разум не противоречит нравственности. Наоборот. Истинный разум всегда против подлости и всякой низости. Умный человек понимает, что нравственность — она в конечном счете выгоднее, чем безнравственность.

Сквозь его наивные и умные рассуждения слышалась тоска, желание найти пример, на который можно было бы опереться. Ему нужен был современный Базаров, идеал рационального человека, настоящий ученый, достигший успеха благодаря разумно выстроенной, сконструированной жизни, героические, нравственно-благородные поступки которого совершаются по уму, а не по чувству. Этот идеал, кажется, появился: жил-был обык-

новенно способный человек, а стал совершенством, большим ученым, прекрасным человеком; он устроил себя, улучшил... Любищев как нельзя лучше подходил для этой роли — он, можно считать, устроил себя по самой что ни на есть рациональной метóде, создал для этого Систему, с ее помощью доказал, как многого можно достигнуть, если фокусировать все способности на одной цели. Стоит методично, продуманно, на протяжении многих лет применять Систему — и это даст больше, чем талант. Способности с ее помощью как бы умножаются. Система — это дальнобойное оружие, это линза, собирающая воедино лучи. Это торжество Разума.

Любищев не год, не два прожил по своей безупречной геометрии. Огромная его жизнь прошла без существенных отклонений, утверждая триумф его Системы. Он поставил на самом себе эксперимент — и добился успеха. Вся его жизнь была образцово устроена по законам Разума. Он научился поддерживать свою работоспособность стабильной и последние двадцать лет жизни работал ничуть не меньше, чем в молодости. Система помогала ему физиологически и морально... А все эти упреки насчет машинности не стоило принимать во внимание. Машинность не страшна ни Разуму, ни душе. Постыдно для духа бояться научного рационализма. Если уж на то пошло, не машинность надо сталкивать с духом, а рабский дух с высоким духом. Дух, обогащенный знаниями, работой мысли, свободен от порабощающей власти машинности...

Таким образом, я вполне мог представить всем этим железным «технарям», моим друзьям из НИИ и КБ, всем молодым кандидатам, перспективным докторам, всем мечтающим достигнуть, добиться, влюбленным в суперменов науки,— великолепного, невыдуманного героя, с именем и биографией, и в то же время идеально устроенную личность, достигшую наивысшего КПД. Все его параметры известны, рекордные показатели — налицо. Живой человек, и в то же время искусственное самосоздание, достойное восхищенья.

Моему приятелю было не суть важно, насколько все это достоверно, его мало заботила совместимость моего героя с настоящим Любищевым. Отступления от подлинника неизбежны; главное, считал он, заострить на этом примере идею, выделить ее, так сказать, в чистом виде, как это делал Гоголь...

Довольно ловко у него все сходилось, и получилось убедительно, и даже заманчиво, но меня останавливал живой Любищев. Мешал он мне. Тот Любищев, которого я знал, с которым встречался и беседовал, согласно записям дневника, «1 ч. 35 минут» и 1 ч. 50 минут», и еще несколько раз...

Глава десятая, названная самим Любищевым „О генофонде", и о том, что из этого получилось

На самом деле все происходило несколько иначе. То есть факты, которые я приводил, были абсолютно точны, но кроме них имелись и другие. Они путали картину, они нарушали стройность — стоило ли их учитывать? Литература, искусство вынуждены отбирать факты, что-то отвергать, что-то оставлять. Художник выбирает для портрета либо фас, либо профиль. Половина человека всегда остается скрытой за плоскостью холста.

Лист книги — та же секущая плоскость. Я добиваюсь не объема, а лишь впечатления объема. Противоречивые факты мешают законченности. Они взрывают готовую отливку на мелкие осколки, краски покидают рисунок и блуждают по холсту.

Если бы я не был знаком с Любищевым, мне все было бы проще...

Смерть сына он переживал долгие годы. Он держался за жесткий распорядок жизни как лыжник на воде за трос катера. Стоило отпустить, потерять скорость — и он ушел бы под воду. Были периоды такого отчаяния и тоски, когда он заполнял дневник механически, механически препарировал насекомых, машинально писал этикетки. Наука теряла смысл; его мучило одиночество, никто не разделял его идей, он знал, что окажется прав, но для этого нужно было много времени, надо было пройти в одиночку зону пустыни, и не хватало сил.

Он мог подчинить себе Время, но не обстоятельства. Он был всего-навсего человек, и все отвлекало его — страсти, любовь, неудачи, даже счастье — и то относило его в сторону.

Второй брак принес ему долгожданный семейный покой.

Он пишет вскоре после женитьбы своему другу и учителю:

> «...Обстановка исключительного домашнего уюта отвлекает меня от поля моей жизни. Я могу Вам, моему старому другу, признаться, что даже научные интересы у меня резко ослабли. Не обвиняйте меня, дорогой друг, Вы простили мне в прошлом немало прегрешений, простите и это. Это не измена науке, а увлечение слабого человека, прожившего суровую жизнь и попавшего теперь в цветущий оазис...»

Признание даже другу требует нравственных усилий. Человек не может исповедоваться каждый день. Ежедневно Любищев мог лишь отмечаться в своем дневнике. И потом вычислить степени своей слабости, своей расплаты за счастье. И то это требовало огромных душевных усилий. Откуда он черпал волю, откуда он находил силы для одинокого пути, откуда в нем был дух противостояния? Ведь это всегда странно,— откуда вдруг возникают Дон-Кихоты, Святые, Юродивые, почему человек вдруг без видимых, да и невидимых толчков становится революционером, обрекает себя на путь борьбы и невзгод? Бывает воля обстоятельств, среды, но бывает, и часто, что-то заложенное, запрограммированное, то самое, что в старину означалось словом — судьба.

Из письма Александра Александровича Любищева к Ивану Ивановичу Шмальгаузену (1954):

> «КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ,
> ЧТОБЫ ЛУЧШЕ МОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ».
> о генофонде
>
> ...В порядке старческой болтливости я попытаюсь Вам изложить тот генофонд, который я получил от моих родителей и дедов.
>
> Вероятно, Вам неизвестно, что мои предки по отцу получили в свое время весьма «направленное» воспитание: они были крепостными графа Аракчеева, но и тогда не теряли бодрости и исправно торговали (видимо, были оброчными). Поэтому я с полным основанием могу утверждать, что в моих хромосомах

имеется ген оптимизма, или даже правильнее будет сказать — гиляризма (от gilarus — веселый). Мой прадед умер от холеры во времена Николая I, и дедушка, отец отца, Алексей Сергеевич, потерял в течение нескольких дней от холеры мать, отца и двух теток, остался круглым сиротой в возрасте восьми лет или девяти лет. Но ген гиляризма был настолько силен, что он не мог плакать на похоронах, и для приличия, чтобы вызвать слезы, пользовался луком. В дальнейшей жизни он все рассказы свои всегда сопровождал смехом, даже когда говорил о печальных событиях, и это было не потому, что он был жестокий или равнодушный к человеческому горю человек — напротив, он был прекраснейший человек — просто действовал ген гиляризма.

Мой папаша тоже был очень веселый и неунывающий человек, причем в таких обстоятельствах, что у всех его знакомых вызывал искреннее удивление. По сравнению со своими предками я являюсь, конечно, достаточно дегенерированным потомком, хотя и считаюсь жизнерадостным человеком.

Другой ген, который я скорее унаследовал по материнской линии, можно назвать геном дискутизма или догоррэизма: болтливости или любви к спорам. Моя мать — урожденная Болтушкина, и, очевидно, фамилия была дана моим предкам не зря, так как дедушка мой, Дмитрий Васильевич, очень любил спорить; когда ездил в поезде, то специально отыскивал спорящего собеседника — соглашающийся с ним собеседник его не удовлетворял.

Несомненно, от предков я унаследовал ген номадизма (от греческого nomados — кочевник) или даже авантюризма, что и не удивительно, так как оба моих родителя родом из Новгородской губернии и уезда, а новгородцы, как известно, были бродяги убежденные...

...В подтверждение этого гена номадизма могу привести такие данные: 1) дедушка мой,

Дмитрий Васильевич, в молодости бежал в Митаву для получения образования, но оттуда обманом был возвращен в родительский дом; 2) дядюшка мой по матери, Василий Дмитриевич, был добровольцем в чернявских отрядах перед русско-турецкой войной 1877 года; 3) дедушка мой по отцу, Алексей Сергеевич, ужасно любил странствовать, и так как в те времена туризма еще не было, то он странствовал по святым местам и был два раза в Иерусалиме.

Ни я, ни моя жена (мать которой была урожденная Любищева) совсем не имеем тяготения к нашему родному городу Ленинграду и, в отличие от большинства ленинградцев, не имеющих в хромосомах гена номадизма, не стремимся там жить.

Должен сказать, что у моих предков имеется тоже ген антидогматизма. Упомянутый мной дедушка, Дмитрий Васильевич, был в достаточной степени вольтерьянцем, читал Дарвина и Бокля и был достаточно свободомыслящим человеком... Не был догматиком и мой незабвенный отец. Он был искренно верующим христианином, но у него было полное отсутствие фанатизма и нетерпимости. По классификации Салтыкова-Щедрина, он был верующим не потому, что боялся черта, а потому, что любил бога, и его бог, как бог бабушки Горького, был бог милосердия и любви. Он регулярно по праздникам посещал церковные службы, эстетически воспринимал их и, когда случалось, например, за границей, посещал католические и протестантские храмы, а при проезде через Варшаву обязательно посещал хоральную синагогу.

Отец мой получил самое скромное, как называли раньше — «домашнее» образование в селе, по профессии был коммерсант. Казалось, можно было ожидать, что в нашем семействе были домостроевские нравы. Ничего подобного! С очень раннего возраста я горячо спорил с отцом по политическим вопросам (отец был очень умеренных политических

взглядов, т. к. очень не хотел революции), и, однако, я никогда не слышал от отца слов: «Замолчи, ты моложе меня»,— он всегда спорил со мной как равный с равным.

Могу сказать, что по отцовской линии у меня, вероятно, получен ген загребенизма. Должно быть, мой прапрадедушка, Артемий Петрович (самый отдаленный предок по отцу, известный мне) носил фамилию Загребин: фамилия чисто кулацкая, и он, как я уже говорил, торговал, будучи крепостным крестьянином. Но загребенизм в нашем роду проявлялся в разных формах: у отца был материальный загребенизм (он был делец, по активности не уступавший, несомненно, американцам) и несомненный умственный загребенизм: он с детства стремился к самообразованию, и умственные интересы, самые живые, сохранил до самой смерти. Умер он восьмидесяти шести лет от роду во время Великой Отечественной войны. У меня материальный загребенизм ослабел. Это вызвало в свое время огорчение моего отца, который (один из немногих) высоко ценил мои практические способности и иногда вздыхал: «Эх, если бы Саша мне помогал, мы бы пол Новгородской губернии скупили». Эти вздохи выражали единственную ноту протеста против избранной мною научной карьеры, которой он не только не препятствовал, но всеми силами содействовал. После революции ему, конечно, не пришлось жалеть о сделанном мной выборе. Интеллектуальный загребинизм у меня сохранился полностью в смысле неослабевающего интереса к разнообразным и все более широким знаниям.

Наконец, в моем генофонде имеется несомненный ген филантропизма. Об этом свидетельствует моя фамилия — Любищев. Основателем ее, кажется, был мой прадедушка Сергей Артемьевич, который любил говорить при обращении: «Любищи-почтеннейший», отчего и произошла наша фамилия. Отец мой был исключительно благо-

желательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали, и только тогда верил какому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали.

Вот какова моя генеалогия: как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца, но, видимо, многое заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего дества, хотя вообще детей особенно не жаловал».

Самооценки Любищева позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть, наиболее существенное в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее деталей их научных достижений. Пусть противопоставление условно — я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого.

Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима, но людей всегда будет привлекать благородный подвиг Курчатова, и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют себе наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей, но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого — из тех, к кому прилепляешься сердцем,— ему нечего менять: человек не может перерасти доброту или душевность.

Время от времени в письмах Любищева попадаются самооценки. Как правило, он прибегал к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого Любищева, и его учителей, и друзей.

Член-корреспондент АМН Павел Григорьевич Светлов, один из друзей Любищева, занимался биографией замечательного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову:

«...Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную: совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку... Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у В. Н. Я очень резок, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез.

...В. Н. знал хорошо латинский язык (но, кажется, плохо знал греческий) и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется, не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой... Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться,— считал, что Данте недооценивают... Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад (цитирую по памяти, не уверен в точности):

Per me si va nella citta dolente
Per me si va neleterno dolore
Per me si va tra la perdute gente
Ciustizzia mosse il mio alto fattore
Fecemi la divina potestate
La somma sapienza e il prima amore
Dinanzi a me non fur cose create
Se non eterno e io eterno duro
Lasciate ogni speranza voi chentrate...*

Или — в другом месте:

Chi e piu scelleranto' chi colui
Chi a giustizzia divin compassion porta...

* «Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья». (*Прим. авт.*)

...Вторая фраза звучит так: кто может быть большим злодеем, чем тот, кто сострадает осужденным Богом. И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника, и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает ему это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злорадно смеется над муками врага...— Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее... Вся его «Комедия» отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая... Это и многое другое непонятно с религиозной, прежде всего христианской точки зрения. Для В. Н. же Данте был не только выдающийся поэт (этого я не отрицаю), но и провидец, видевший «умными» очами то, что невидимо обычным людям. Тут, очевидно, проходит грань между мной и мне подобными — многими людьми, видящими в Шекспире не только выдающегося драматурга и в Пушкине не только выдающегося поэта, но и лидеров человеческой мысли, что я вовсе отрицаю. Та моральная высота, которая была уже достигнута в древнегреческих трагедиях учениками Сократа, Платона и Аристотеля, совершенно отсутствует у Данте. Так по поводу Данте мы с Владимиром Николаевичем договориться не могли.

...Я думаю, что то разделение своих интересов, которое В. Н. провел, было оптимальным, а кроме того, от его работы с комарами было огромное нравственное удовлетворение, что эти работы непосредственно полезны народу. А что касается того, что многие планы остались невыполненными, так я думаю, что у всякого человека широкого диапазона планов столько, что их выполнить невозможно.

...Если бы моя резкость была связана с нетерпимостью, то я нашел бы много личных врагов. Мое сильное свойство, что в полемике я никогда не преследую личных целей. В. Н. же умел столь же строгую критику преподносить безболезненно. Я, конечно, веселее В. Н.

и люблю трепаться и валять дурака. Я в детстве совсем не дрался и не любил драться, вообще был очень смирным внешне, но интеллектуальную борьбу люблю, и в этой борьбе веду себя подобно боксеру: я не чувствую сам ударов и имею право наносить удары. Эта практика оказалась совсем не вредной, я не нажил личных врагов и, живя в разных странах, великолепно ладил с разноплеменным населением.

...В чем я считаю себя сильнее В. Н. и что он тоже признавал, это, как он выражался, большая метафизическая смелость, истинный нигилизм в определении Базарова, т. е. непризнание ничего, что бы не подлежало критике разума... Ввиду наличия у В. Н. непогрешимых для него догматов он был нетерпимее, чем я, но эту нетерпимость никогда не проявлял извне. Мы же так отвыкли от истинного понимания терпимости, что часто всякую критику (т. е. отстаивание права иметь собственное мнение) уже рассматриваем как попытку «навязать» свое мнение, т. е. нетерпимость. Но единственная сила, которую можно применять — это сила разума, и сила разума не есть насилие... Я хорошо помню великолепные слова Кропоткина «люди лучше учреждений», это он сказал относительно деятелей царской охранки. Я бы прибавил: люди лучше убеждений.

...По ряду соображений, частично внутренних, частично внешних, я начал собирать насекомых с 1925 года (прежде всего блошек) и примерно с того же времени — читать лекции по сельхозвредителям в Пермском университете.

...Американец Блисс, когда мы с ним ездили в командировку по Украине и по Кавказу, сказал мне по поводу моего обычая одеваться более чем просто, игнорируя мнение окружающих: «Я восхищаюсь вашей независимостью в одежде и поведении, но, к сожалению, не нахожу в себе сил вам следовать». Такой комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошля-

ков... По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что 1) зачем конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия; 2) в скромной одежде — большая свобода передвижения; 3) некоторое даже сознательное «юродство» неплохо: несколько ироническое отношение со стороны мещан — полезная психическая зарядка для выработки независимости от окружающих...»

Цитирую я здесь, как можно видеть, разные выборочные места, связанные с характером Любищева и с уровнем культуры его среды.

Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. Они приводили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Классическое образование? Но так же они знали и Гюго и Гете, я уже не говорю о русской литературе.

Может показаться, что это — письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, «Драмах революции» Ромена Роллана.

Может, литература — его увлечение? Ничего подобного. Она — естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературоведении он и не покушался. Это было нечто иное — свойство ныне забытое: он не умел просто потреблять искусство, ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение и от Данте и от Лескова было тем больше, чем полнее ему удавалось осмыслить их.

В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из «Марии Стюарт» и «Орлеанской девы». Цитаты переходят в целые сцены, чувствуется, что Любищев забылся — и переписывает, и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое...

Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию меж-

ду своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым — знать. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода — знать. Ему кажется, что культуру можно «знать». Он «следит» за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку — внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия. Но — без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысления не происходит. Он «в курсе», он «осведомлен», «информирован», он «сведущ», но все это почти не переходит в культуру.

— А наше дело заниматься конкретными вещами,— говорил мой технарь. Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человечеству еще большие удельные мощности.

— Размышление на общие темы не обязательно, не входит в наши обязанности, да и кому это нужно... А впрочем...— Он погрустнел.— Хорошо бы было обо всем этом подумать... Но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...

Ни Любищев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными, никто из них не жил в привилегированных условиях, никто не был изолирован от тревог, грохота и страстей довоенных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения.

В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, Любищеву приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью:

> «...Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией и общебиологическими проблемами... но занимался этим мало. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много

занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне слушать выступление, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим примирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности, все три «Критики» Канта были прочитаны мною в дороге... По философии, мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около ста страниц тетрадного формата, с разбором «Критики чистого разума» Канта. Эта рукопись пропала в Киеве...»

Жизнь народная, со всем ее бытом, была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтения этого было недостаточно; ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так и этак, повернуть по-своему; прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе И. Канта, критически отбирая то, что ему подходит. Ему надо было найти свое.

На него не действовали ни общее мнение, ни признанные авторитеры. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью.

Он считал себя нигилистом — в том смысле, какое дал этому слову Тургенев:

«Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. С той лишь добавкой, что это был нигилизм творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить, не опровергнуть, а убедиться...»

Что-то там, в глубине его ума, бурлило, варилось; он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел, и искал сомнения там, где установились незыблемые истины.

В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились: о сущности природы, эволюции, о целесообразности,— немодная, заглохшая потребность.

Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь

ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, какие имелись в школьных программах.

При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка Любищева с Юрием Владимировичем Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгардтом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно и грустно — с этим поколением уходит русская культура начала века и Революции.

Глава одиннадцатая—об одном свойстве некоторых ученых

В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Квартиры-музеи — это нечто особое. Их и осматривать надо иначе чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает Время. В этих музеях ничего не меняется. Они нравятся мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а остановленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды, та же мебель.

Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть — не конец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают необъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей; у каждого есть хранилища совести, пережитого, есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее,— образы этих мест, потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились.

Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных тридцатых и сороковых годов с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках — примусы, а возле примусов — иголки, полоски жести с зажатыми иголочками для того, чтобы прочищать ниппель примуса; чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров

поленницами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек...

Так мы жили. И наши родители.

...В кабинете Менделеева осталось все как при хозяине: письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диван и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталожные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр его библиотеки аккуратно выписаны, и сверху поставлен шифр. К каталогу имелся указатель. Отделы, подотделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала 16 тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой групировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему.

Уже в те времена за научной литературой становилось трудно следить. Гигантскую работу, проделанную Менделеевым — тысячи заполненных карточек, подшитых в пачки, подчеркнутых цветными чернилами,— я обьяснял необходимостью, рабочей нуждой, а нужда, она научит и лапти плесть, коли нечего есть. Хочешь не хочешь — ему приходилось отрывать время на эту канцелярщину.

Но затем мне показали другие ящики, новый каталог, с иной картотекой, и журналом, где был ключ к этому каталогу. Сюда Менделеев заносил свою коллекцию литографий, рисунков, репродукций. Тут уж, казалось бы, прямой нужды не было — тем не менее он расписал тысячи названий; опять все было распределено, систематизировано.

Я смотрел альбомы, куда Менделеев после каждого путешествия разносил фотографии. В сущности, это были альбомы-отчеты. Поездка в Англию — подклеены были пригласительные билеты, меню торжественного обеда, какие-то бумажные значки, открытки. Менделеев сам печатал фотографии, сам расклеивал, подписывал. Письма, всю корреспонденцию он тоже подбирал, сброшюровывал по какой-то системе; по другой системе вел записные книжки, записи дневнико-

вые и денежных расходов. Вел изо дня в день, указывал любые траты, вплоть до копеечных. Если бы я увидел эти документы в копиях, допустим в публикациях архива Менделеева, я решил бы, что это либо блажь, либо скупость, мания,— словом, какая-то слабость великого человека.

Но передо мною были подлинные документы; у них есть магическое свойство — они способны что-то досказывать, доведывать...

Бумага, почерк, чернила продолжают излучать тепло рук писавшего, его настроение. Перо, я это видел, скользило по бумаге без нетерпения и скуки, чувствовалось тщание, некоторая даже любовность.

Мне вспомнилось признание Любищева:

> **«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь чисто технической работой».**

У Менделеева такая черновая работа была, очевидно, тоже отдыхом, приятностью. Через Любищева становилось понятно, как любовь к систематизации может проходить через все увлечения, и эти менделеевские каталоги, расходные книжки — никакая это не слабость. Все, с чем он ни сталкивался, ему хотелось разделить на группы, классы, определить степени сходства и различия. Черновая, даже механическая работа — то, что представлялось людям посторонним чудачеством, бесполезной тратой времени,— на самом деле помогала творческому труду. Недаром многие ученые считали черновую работу не отвлечением, а условием, благоприятным для творчества.

Я сидел один в кабинете Менделеева и думал о том, что электронно-вычислительные машины, конечно, освобождают человека от черновой работы, но, одновременно, они и лишают его этой работы. Наверное, она нужна, ее будет не хватать; мы обнаружим это, лишь когда лишимся ее...

Старая мебель окружала меня — тяжелая, крепкая, изготовленная со щедрой прочностью на жизнь нескольких поколений. Вещи обладают памятью. Во всяком случае, пожившие вещи, сделанные не машиной, а ру-

кой мастера. В детстве, пока инстинкты еще не заглохли, я хорошо чувствовал эту одушевленность вещей.

Вспомнилось, еще из детства, ощущение дерева, его мышц,— живого, упрятанного там, за лаком, краской, в глубине древесных сухожилий. Словно что-то передавалось мне от многих часов, проведенных здесь Менделеевым, среди этих книг и вещей.

Страсть к систематизации была как бы оптикой его ума, через нее он разглядывал мир. Это свойство его гения помогло ему открыть и периодический закон, выявить систему элементов в природе. Сущность открытия соответствовала всей его натуре, его привычкам и увлечениям.

Процесс упорядочения, организации материала — для ученого сам по себе удовольствие. Пусть это не имеет большого значения, вроде каталога репродукций, но заниматься этим приятно. Наслаждение такого рода — ведь это уже само по себе смысл.

У Любищева был развит вот такой же тип мышления: ученого-систематика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи, извлечь закономерности в какой-то мере свойственно всякому ученому. Но для Любищева систематика была ведущей наукой. Она имела дело и с Солнечной системой, и системой элементов, и системой уравнений, и систематикой растений, и кровеносной системой: всюду царила система, всюду он различал систему.

Систематика была его призванием; она выводила к философии, к истории; она была его орудием.

Он хотел стать равным Линнею...

Выявлять новые, все более глубокие системы, заложенные в природе...

В его записках 1918 года он строит одну систему за другой, вплоть до системы глупости — полезная глупость, вредная, прогрессивная и т. д. Он пишет о недостатках университетского устава и сразу же пробует создать систему, заложить систему устава.

Быт его был упорядочен разного рода системами: система хранения материалов, система переписки, система хранения фотоснимков.

Бесчисленное количество дат, имен, фактов, которыми так легко оперировал Александр Александрович Любищев, были уложены в его голове по какой-то хитрой системе. По крайней мере так казалось, когда

не «роясь в памяти», он в нужный момент извлекал их, как извлекают из шкафа требуемый том справочника.

Он один из первых стал применять в биологической систематике дискриминантный анализ. Он вооружал систематику — я бы сказал, лелеял ее — математикой. Биологические системы или система в биологии — вызывали у него чисто эстетическую радость, и одновременно грусть и печаль от этой непостижимой сложности и совершенства природы.

Поражающее многообразие в строении тех же насекомых для него — не помеха, не отвлечение, а источник удивления, того удивления, которое всегда приводило ученых к открытиям. Он мечтал выявить истинный порядок организмов и понимал необозримость этой задачи.

> **«...Вероятно, большинству кажется, что систематика многих групп — например, птицы, млекопитающие, высшие растения — в основном кончена. Но здесь можно вспомнить слова великого К. фон Бэра: «Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели»...»**

Подобно многим людям, я имел самые высокомерные представления о систематике насекомых. Наукой это не назовешь, в лучшем случае — хобби. Можно ли считать занятием, достойным взрослого мужчины, ловлю бабочек и разных мошек? Какую мошку рядом с какой наколоть... Чудачество, украшающее разве что героев Жюля Верна.

А между тем, систематика стала ныне сложной наукой с применением математики, ЭВМ; все шире там пользуются теорией групп, матлогикой, всякими математическими анализами.

Энтомология, букашки, систематика... Коллекции наколотых на булавки, с распростертыми крыльями бабочек. Бабочки, сачок — почти символы легкомыслия. А между прочим, были ученые, которые годами занимались узорами на крыльях бабочек. Вот уж где, казалось бы, пример отвлеченной науки, оторванной от жизни, бесполезной, не от мира сего и т. п. Между тем, ленинградский ученый Борис Николаевич Шванвич, сравнивая эти узоры, размышляя над геометрией рисунков, над сочетанием красок, сумел извлечь чрезвычайно много для морфологии и проблем эволюции. Узоры

стали для него письменами. Их можно было прочитать. Природа устроена так, что самая незначительная козявка хранит в себе всеобщие закономерности. Те же узоры, они — не сами по себе; они — часть общей красоты, которая остается пока тайной. Чем объяснить красоту раковин, рыб, запахи цветов, изысканные их формы. Кому нужно это совершенство, поразительное сочетание красок?.. Каким образом природа сумела нанести на крыло бабочки узор безукоризненного вкуса?..

Надо было иметь известное мужество, чтобы в наше время позволить себе отдаться столь несерьезному, на взгляд окружающих, занятию. Мужество и любовь. Разумеется, каждый настоящий ученый влюблен в свою науку. Особенно же — когда сам объект науки красив. Но, кроме звезд, и бабочек, и облаков, и минералов, есть предметы с красотой, невидимой никому, кроме специалистов. Большей частью это бывает с отвлеченными предметами, вроде математики, механики, оптики.

Но есть и вовсе странные объекты. Так, известный цитолог Владимир Яковлевич Александров с упоением рассказывал мне о поведении клетки, о том что она несомненно имеет душу. Любищев был,разумеется ,убежден, что наиболее этическая, нравственная наука — это энтомология. Она помогает сохранять лучшие черты детства — непосредственность, простоту, умение удивляться. Прежде всего он чувствовал это по себе,— и действительно, чтобы старый почтенный человек, не обращая внимания на прохожих, вдруг пускался в погоню, через лужи, за какой-то букахой, для этого надо иметь чистоту и независимость ребенка. А то, что энтомологов,— говорил он,— считают дурачками, это иногда полезно, они безопасно могут ходить в самые «разбойничьи» места, благо над ними посмеиваются как над безобидными юродивыми.

Они и в самом деле чудаки. Некоторые из них по-настоящему влюблены в своих насекомых. Карл Линдеман говорил, что он любит три категории существ: жужелиц, женщин и ящериц. Ловя ящериц, он целовал их в голову и отпускал. «Видимо, почти то же он делал и с женщинами»,— замечает Любищев.

На могиле Шванвича на Охтенском кладбище высечен любимый им узор крыла бабочки.

Чарльз Дарвин, который тоже начинал как энтомолог, вспоминал:

«...Ни одно занятие в Кембридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков... Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса, «Иллюстрации британских насекомых», магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром»...»

Пристрастие к энтомологии доходило до того, что Любищев терял присущую ему терпимость, чувство справедливости и даже чувство юмора. Он не мог простить Александру Сергеевичу Пушкину ядовитого рапорта Воронцову о саранче. Он доказывал, что свое отношение к Воронцову Пушкин изменил лишь из-за обиды, после «издевательской» командировки Пушкина на борьбу с саранчой. После этого Воронцов стал для него «полуневежда и полуподлец».

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

«Для меня ясно,— пишет А. А. Любищев,— что издевательским был отчет Пушкина. Командировку я вовсе не нахожу издевательской. Насколько мне известно, Пушкин был чиновником особых поручений. Специалистов-энтомологов в то время не было, и поэтому командировка развитого и смышленого человека была вполне уместна. Никаким опасностям он там не подвергался, а мог изучить быт народа... а кстати отдохнул бы от неумеренного волокитства за одесскими барыньками, включая и мадам Воронцову, что, конечно, отнимало у него гораздо больше времени и сил, чем обследование саранчи».

Любищев был убежден, что своим здоровьем, работоспособностью он обязан своей прекраснейшей специальности. Работа с насекомыми входила в Систему, дополняла ее физической нагрузкой, приятностью механической работы.

Энтомология, систематика, земляные блошки — пусть стоящие споров и ссор с неодарвинистами,— все равно, что может быть спокойней и укромней, чем это далекое от треволнений актуальных задач науки, это милое академическое убежище, эта безобиднейшая специальность...

Глава двенадцатая—за все надо платить

В тридцатые годы Любищев работал в ВИЗРе — Всесоюзном институте защиты растений, который находился тогда в Ленинграде на Каменном острове, в Елагином дворце.

Любищев изучал экономическое значение насекомых-вредителей. Подойдя к этому математически, Любищев пришел к заключению, несколько ошеломившему всех,— что ущерб, наносимый насекомыми, во многом преувеличивается. На самом деле эффективность их действий значительно ниже, чем ее тогда принимали. Поехав на Полтавщину, он обследовал участки, которые числились как пораженные луговым мотыльком. Поля выглядели странно: свеклы не видно, всюду растет лебеда. Раздвигая заросли лебеды, Любищев обнаруживал угнетенные, но совершенно здоровые побеги свеклы. Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля опрыскали и спасли. Любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свеклы и поразился великолепным видом: растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто: хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов председатель и агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили,— свекла заросла, и луговой мотылек здесь ни при чем.

Обследование Северной Украины показало Любищеву, что и в других районах луговой мотылек практически вреда не приносил. Имелись сигналы с Северного Кавказа. Любищев ездил и тщательно осматривал поля, на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред — сомнительным.

Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в Зимовниках, изучая вредность сусликов; изъездил Азербайджан, изучая вредность

стеблевой ржавчины; в Георгиевской обследовал яблоневые питомники.

Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская — география его поездок охватывает весь юг России.

Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносят ущерб не менее десяти процентов. Любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучения данных США заставили его снизить этот процент до двух, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. Три года Любищев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается, и похоже, что и сам отдел в том виде, в каком он был,— не нужен.

Какое, спрашивается, дело было Любищеву, нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота. Ну, хорошо, допустим, пришел он к своему выводу насчет насекомых, доложил, написал,— ну и все, хватит, долг ученого выполнил... Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела, и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой — и некоторым колхозам было удобно и еще кой-кому...

Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навидался нерадивых хозяев, ищущих, на что бы сослаться. Наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе, вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь, с цифрами, по всем правилам — любой может убедиться — он доказывал, как безграмотно производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых.

«Безграмотно» — он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача — и по рабочей силе, и по химикатам,— непосиль-

ная для тех лет. Любищев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно, бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая миллионы рублей.

Руководителей отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление — они были оскорблены, уязвлены,— и это было важнее всего.

В 1937 году произошло памятное заседание Ученого совета ВИЗРа. Пять часов длилось обсуждение работ Любищева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любищева. Его обвиняли в том, что он систематически чуть ли не умышленно снижает опасность вредителей с целью демобилизации борьбы с ними... да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник... Раздражало, что Любищев и не думал каяться. Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, никогда он не делал это по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать.

Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева: он полагал, что в науке голосование ничего не решает; наука — не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым.

Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения Ученого совета он вполне мог, как он сказал, «перейти на казенные харчи».

И все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступать по трезвым доводам рассудка. Или по соображениям пользы науки, своей цели и т. п. Жертвовать собой, так хоть ради чего-то,— но кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником... Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений т а к себя вести.

Тупо и упрямо он стоял на своем.

Вопреки своему хваленому рационализму.

Это всегда удивительно — ощутить вдруг предел, не-

подвластный логике, разуму, непонятный, необъяснимый, духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то: «На этом я стою и не могу иначе».

...Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства: директора института арестовали, и среди прочих обвинений было — разгон кадров. Тем самым Любищев политически был как бы оправдан, и ВАК (еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена) оставил Любищеву степень доктора наук.

Похожая история повторилась с ним спустя десять лет, после известной сессии ВАСХНИЛа, в 1948 году.

Выручала его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали — то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка.

Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной, благополучной жизни Любищева. На что, верный своей манере, Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей:

> «В возрасте пяти лет упал со столба и сломал руку;
>
> в возрасте восьми лет отдавил плитой ногу;
>
> в возрасте 14 лет, препарируя насекомых, порезался: началось заражение крови;
>
> в 20 лет — тяжелый аппендицит;
>
> в 1918 году — туберкулез легких;
>
> 1920 — крупозная пневмония;
>
> 1922 — сыпняк;
>
> 1925 — сильнейшая неврастения;
>
> 1930 — чуть не арестован в связи с кондратьевщиной;
>
> 1937 — кризис в Ленинграде (ВИЗР);
>
> 1939 — после неудачного прыжка в бассейне — мастоидит;
>
> 1946 — авиационная катастрофа;
>
> 1948 — проработка после сессии ВАСХНИЛа;
>
> 1964 — тяжелое падение затылком о лед;
>
> 1970 — сломал шейку бедра...»

1/23 Заказ 2127

Все это — не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой «инцидентоспособностью». Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест, и если падал, то разбивался...

Глава тринадцатая— о противоречиях

Время от времени он рассылал свои отчеты друзьям. Назывались они — «годичные послания». Разумеется, не полный отчет, а некоторая выборка. Сами же годичные отчеты оставались в архиве. Годичные послания — ясно; на запросы друзей он отделывался как бы общим письмом, где рассказывал, что сделано, над чем работает, каково состояние здоровья. Сухие ведомости годовых отчетов преображались в годичных посланиях друзьям. Описание прошедшего года со всеми злоключениями, невзгодами и радостями,— это и весело и серьезно:

> «...В январе получил хорошую встрястку, поскользнувшись и упав затылком о лед. Первый раз понял, что значит «память отшибло». Я сознания не потерял, но когда поднялся, то совершенно забыл, что хотел зайти к одному знакомому... Вредных последствий не было, даже думаю, что были полезные. Прецеденты описаны: говорят, митрополит Филарет Дроздов в молодости отличался слабыми способностями и был пастухом, но как-то получил крепкий удар по лбу, после чего обнаружил способности и сделался митрополитом. Но он был известен, как реакционер, что вполне понятно, так как получил удар по лбу, что дало ему толчок назад. Получивши же подзатыльник (старинное русское педагогическое мероприятие), человек получает стимул двигаться вперед, что и объясняет способность русского племени. Хотя таким образом разработана теория и практика подзатыльников, я решил от применения этих мероприятий к себе воздержаться...»

Но для кого, собственно, составлялись сами отчеты, те, что оставались в его архиве, многостраничные, со

всеми перечнями. Перед кем он отчитывался? Если только для анализа прошедшего года, то вряд ли стоило выписывать все названия прочитанных книг, всех адресатов писем, все прослушанные оперы... Достаточно было бы привести количественные, так сказать, характеристики: сколько томов, страниц, часов и т. п. В его отчетах явно ощущался дух именно отчета перед кем-то, перед чем-то. Он отчитывался. Перед собою? Звучит это, конечно, красиво, но реальности тут мало: скорее искусственный домысел, больше литературный, чем жизненный. Что значит — перед собою? Это требует некоего раздвоения психики, почти комического: я пишу себе же, отчитываюсь и жду решения...

Думаю, предполагаю, что дело обстояло несколько иначе, что возникли отчеты из необходимости анализа: с каждым годом у Александра Александровича Любищева возрастало ощущение ценности времени, какое появляется к зрелости у каждого человека, у него же — особенно. Система вырабатывала уважение к каждой частице времени, благоговение перед временем.

Эта характерная черта подмечалась людьми, хорошо знавшими его.

«Время его жизни,— писал Павел Григорьевич Светлов,— это не его собственность, оно отпущено ему для работы в науке, именно в этом заключается его долг и главная радость его жизни. Во имя исполнения этого долга он экономил время, учитывая все часы и минуты, бывшие в его распоряжении».

Он отчитывался за время, «отпущенное» ему, как выразился Павел Григорьевич Светлов, за время одолженное... Кем? Здесь мы касаемся уже его философии жизни, отношения к цели, к Разуму, к сложнейшим вопросам бытия, в которых я не готов разбираться. И не решаюсь касаться.

Мне ясно лишь одно: его Система не была сметой расчетливого плановика — скорее ее можно сравнить с потребностью исповедаться перед Временем.

То чувство благоговения перед жизнью, о котором пишет Альберт Швейцер, у Любищева имело свой оттенок — благоговение перед Временем. Система его была одухотворена чувством ответственности перед Временем, куда входило и понятие человека, и всего народа, и истории...

Итак, он много сделал, поскольку следовал своей

Системе, поскольку никогда не считал полчаса малым временем.

Его мозг можно назвать великолепно организованной машиной для производства идей, теории, критики. Машина, умеющая творить и ставить проблемы. Неукоснительно действующая в любых условиях. Четко запрограммированная на важнейшую биологическую проблему и безупречно проработавшая с 1916 года, то есть пятьдесят шесть лет подряд. Нет, сам он, как уже выяснилось, не был роботом, отнюдь: он страдал, и грустил, и совершал безрассудные поступки, причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страстям.

— С моей точки зрения,— говорил он сам,— **представление о человеке как о машине есть суеверие, примерно такое же, как суеверие, что лежит в основе составления гороскопов.**

Пример с гороскопами не случаен — считалось, что звезды жестко предопределяли судьбу человека. Любищев предопределил себя сам.

Для Любищева была предопределена не судьба, не поступки, не переживания, а его работа. Так, по крайней мере, вытекало из его Системы. Все было расписано, вычислено для достижения цели. Ради этого — планировалось, подсчитывалось, было распределено по входным и выходным каналам. И отчитываться он должен был — насколько он продвинулся вперед, к цели.

Однако чем дальше, тем загадочнее становился его путь — то и дело он отклоняется в сторону. Без видимых причин беспорядочно, надолго отвлекается, забывая о своей главной задаче. При этом нельзя сказать, что он человек разбросанный: начав какую-нибудь работу, он кончает ее, но сама эта работа — посторонняя, никак не предвиденная.

В 1953 году, казалось бы ни с того ни с сего, он садится за работу «О монополии Лысенко в биологии». Сперва это были некоторые практические предложения, потом они разрослись в труд, имеющий свыше семисот страниц. В 1969 году так же неожиданно он пишет «Уроки истории науки». Пишет воспоминания о своем отце; печатает в «Вопросах литературы» статью «Дадонология»; ни с того ни с сего разражается «Замечаниями о мемуарах Ллойд-Джорджа»; пишет вдруг трактат об абортах, и тут же — эссе «Об афоризмах Шопенгауэ-

ра», и следом — «О значении битвы при Сиракузах в мировой истории». Ну что ему Сиракузы? С какого боку!

Хотя... известные наши историки-античники советуются с ним, посылают ему на отзыв рефераты, книги. Он выступает как знаток античной истории, но для них, специалистов, он интересен не только как знаток, а как мыслитель — и здесь у него свои взгляды, своя трактовка, свой еретизм.

В той же статье о Сиракузах он пишет:

> «Казалось бы, что если бы в этой битве верх одержали Афины, то они сумели бы под своей гегемонией объединить всех эллинов, создать обширное государство, в рамках которого шло бы безостановочное развитие эллинской культуры... Эту точку зрения я все время воспринимал без критики. Афины казались каким-то чудом истории — на крошечном клочке земли, разделенном еще на множество мелких полисов, возникла поразительной высоты культура, которая и сейчас вызывает наше восхищение: искусство, литература, философия, наука и едва ли не первая попытка демократического строя... И постоянным антагонистом великолепных Афин было мрачное солдафонское государство Спарты с его полным отсутствием культурного наследства... пламенной самовлюбленностью и ограниченностью».

Как и все, он считал, что правда на стороне афинян и что афиняне, возглавляемые талантливым Алкивиадом, должны были победить. Но обратите внимание на следующую фразу: «...Сейчас ряд соображений заставляет меня решительно изменить свои взгляды на роль Афин в мировой истории». И далее он излагает по порядку соображения, подробно аргументируя их.

Можно подумать, что его профессия — история Афин или по крайней мере древняя история, и какие-то новые материалы заставили его передумать, пересмотреть и изменить свой взгляд на роль Афин. Разве придет в голову, что это пишет биолог? Опять-таки дело не в эрудиции. Поражает другое: ему, видите ли, не дает покоя роль Афин в мировой истории!

Теперь, когда его нет, любой вопрос безответен — на-

до рыться в письмах, рукописях, чтобы найти ответ. Изучая его отчеты, я уяснил, что в этот период он готовил работу о расцвете и упадке цивилизации и поэтому продумывал роль Афин. Так что все это — не игры досужего ума. А работу о цивилизациях он затеял потому, что считал необходимым раскритиковать социал-дарвинистские взгляды крупнейшего английского генетика Рональда Фишера, который пытался социологию свести к биологии и доказать, что генетика — ведущий фактор прогресса человечества, причина расцвета и упадка цивилизации.

Вероятно, во многом, что кажется у Любищева случайным, можно проследить необходимость и связь с его главной работой. Но есть и вещи совсем неприкаянные, начисто посторонние. С какой стати он берется за трактат о Марфе Борецкой, садится за труд об Иване Грозном? Конечно, и это можно оправдать и обосновать. Особенно хорошо обоснованы бывают слабости. Любищев явно не умеет себя ограничивать. Он увлекается вещами для него посторонними, ввязывается в дискуссии, не имеющие к нему прямого отношения. Что ему за дело до постулатов этики — на то есть специалисты-философы; какого черта ему надо писать свыше пятидесяти страниц «Замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа» — это же непозволительная роскошь! Это может позволить себе лишь праздный ум...

Существует древняя поговорка: врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. То же с учеными. Если ученый — только ученый, то он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия, вдохновение, то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе у ученого остается лишь стремление к фактам.

...Отвлечения занимали все больше и больше места в его работе. Он сам сетовал, что не в состоянии укрыться от страстей окружающего мира, но я думаю, что и свои собственные страсти он не в силах был обуздать. Он не умел соблюдать диету своего ума — в этом смысле он грешил лакомством или обжорством. Там, где ему попадалось что-либо вкусненькое для его мощной логики, он не мог удержаться.

Как это сочеталось с его Системой? Да никак. Она становилась инструментом, на котором он играл что придется — импровизации.

Он учитывал время со всей скрупулезностью, но на что он его тратил? Друзья и близкие все чаще упрекали его за это, особенно же остро встал вопрос «надо» или «не надо», когда Любищев взялся за большую свою работу о положении в биологии:

«...Самое серьезное и самое убедительное для меня в Вашем письме — это то, что Вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно в сущности и есть причина болезни. Это прекрасное мужское свойство... Я видела, что мужчины — очевидно, люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье,— всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о науке или искусстве того, что им велела совесть». И далее: «...Но ведь у вас есть и долг перед наукой (в более глубоком смысле социальный), который заставляет Вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке... Есть два долга: один — наука, другой — ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в данную историческую минуту. Я не уверена, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. Именно первое— открытие, событие; находка сметает второе».

Мнения друзей сводились к одному: дело ученого — решать свои непосредственные задачи. Научная критика, говорили они, играет подсобную роль в решении больших вопросов, «это все скорее — тактика, политика, а не научный спор. Эти вопросы надо отнести к компетенции партии и правительства».

Опасения были справедливы, доводы умны и дальновидны. Ему, как и предсказывали, пришлось столкнуться с дирекцией института и подать в отставку. Потом правота его была признана, его звали назад; но то — потом, спустя годы, в том прекрасном будущем, в котором обязательно справедливость торжествует, а порок, как и положено, наказан,— а пока что каждый мог его спросить: вот видишь, что получилось, так стоило ли?

Рукопись свою, несмотря на уход из института, он довел до конца. Рассуждая логически, он не сумел бы доказать, что работа эта стоила всех неприятностей, стоила того, чтобы отвлечься от основной своей работы... Разве что — совесть, гражданская совесть. Может, это решало — весьма туманная материя, вроде бы никак не связанная с разумом? Да и совесть его тоже страдала от того, что он забросил, отложил дело своей жизни. Он все время как бы брал отпуск за свой счет, отпуск от

любимой своей работы. Ради чего? Боролся за правду? Но ведь не его это назначение, он — ученый, он ищет истину, а не правду. Обязан — не обязан. Должен — не должен. Совесть его разрывалась. Он чувствовал болезненное это противоречие, яростную полемику между долгом вмешаться, откликнуться и главным долгом своей жизни. Он понимал, что в каком-то смысле жертвует собою, откладывая осуществление любимого дела. В сущности, он жертвовал своим временем, своим покоем. Он не мог найти для себя компромисса.

В его продолжительной жизни не было решения, она была постоянным спором. Внутренний спор делал его все более чутким и непримиримым ко всякому злу жизни. Неумолчный этот спор питал его нравственность. В нем росло как бы ощущение всемирности, когда человек сознает, что в нем самом и для него — творится история. И что судьба страны есть его собственная судьба. Это чувство гражданина страны. Не случайно он так чтил Тимирязева за то, что тот совмещал преданность чистой науке и сознание общественного долга ученого перед народом. Ощущение всемирности — ощущение принадлежности к роду человеческому.

В числе его любимцев были и Эйнштейн, и Кеплер, и Леонардо да Винчи. То есть — самые разные как бы типы ученых. В Леонардо нравилось Любищеву отрицание догмата, какого-либо авторитета — и математический подход к разнообразным явлениям. Леонардо был религиозен, но Любищев отмечал, что религия толкала Леонардо не к созерцанию, а к творчеству. Этические мысли Леонардо, так же как, впрочем, и мысли на этот счет Маккиавелли, нисколько не смущали Любищева:

> «Они кажутся безнравственными только потому, что новая этика кажется безнравственной. Фактически это — та же высокая этика Сократа: оправдание морали разумом».

Любищев часто превозносит Разум, а сам ведет себя неразумно, нерасчетливо. Самодисциплина его действует, но она итожит траты, порой расточительные, которые ему явно не по карману.

Ах, что мы знаем об увлечениях и отвлечениях! Кто смеет говорить: «Человек должен быть таким-то». Откуда мы знаем? А если без этих отвлечений он не мог? Вспомните отвлечения Ньютона. Величайшим созданием своей жизни Ньютон считал «Замечания на книгу пророка Даниила...» Он тратил массу времени на богословские сочинения, и легче всего полагать, что зря его тратил. Некоторые историки снисходительно жалеют его. Но, оказывается, религиозные его воззрения уживались — даже взаимодействовали — с его научными взглядами. Парадоксальную эту особенность подметил Сергей Иванович Вавилов в своей превосходной биографии Ньютона, а за ним и Любищев показал, что Ньютону при решении вопроса о принципах всемирного тяготения нужно было чем-то заполнить мировое пространство. Он заполнил его Богом. Только участием Бога он мог объяснить тяготение. Занятия теологией пошли ему вроде бы на пользу — так же как Кеплеру его астрологические суеверия позволили построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.

Что ж, астрология отвлекала Кеплера, мешала ему? Что было главное, а что лишнее? Кому судить об этом? Вагнер, например, ценил свои стихи выше, чем свою музыку. Но что если он был прав, и стихи помогали ему писать музыку и были для него тем самым дороже всего?.. Что если отвлечения помогали Любищеву?

В 1965 году он занят разглядыванием морозных узоров на окнах. Он делает десятки, сотни фотографий этих узоров и наконец пишет статью «О морозных узорах на окнах».

Его нисколько не смущает эта фельетонная тема, отличный повод для насмешек — морозные узоры на окнах, из которых отставной профессор пытается высосать науку.

Что нового можно сказать об этом, всем известном, явлении? Кто не любовался мохнатыми зарослями, которые рисует мороз на стеклах? Каждый открывал странное сходство этих рисунков с растениями, папоротниками, травой, с древесным миром.

Дело в том, что и картина эта, и человеческое удивление насчитывает уже сотню-другую лет, тираж наблю-

дений составил миллионы, миллиарды раз,— так что вряд ли можно было увидеть тут что-то новое. Но в один прекрасный зимний день появляется человек, который смотрит на эти узоры откуда никто никогда не смотрел. Не сходство обнаруживает он, а закономерность сходства. Он делает всего-навсего один шаг дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. Закономерность сходства, а значит — общие законы строения и гармонии в естественных системах. Их можно выразить математически. Юлий Анатольевич Шрейдер — один из исследователей творчества Любищева — пишет, что в этой статье Любищев выдвигает две новые отрасли науки: теорию сходства и теорию «симметричных форм, не заполняющих пространство». Морозные узоры вдруг нежданно-негаданно дополняют общую картину мира, которую создает Любищев. Он берет материал для нее отовсюду, из самых обыденных, примелькавшихся явлений, он открывает новый, более глубокий уровень понимания — и обычное становится необычным. Для настоящего ученого источником открытия могут быть вещи самые ничтожные.

Софья Ковалевская занималась волчком — детской игрушкой — и по-новому решила задачи вращения твердого тела. Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек. Его работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начала анализа бесконечно малых. Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую работу — теорию множеств. Не из карточных ли игр родилась современная теория игр?..

Друзья, которые упрекали Любищева за то, что он разбрасывается, сами с удовольствием читали его «посторонние» работы. И для меня наиболее интересны как раз его отвлечения. Они всегда были неожиданны, захватывающи. Они всегда что-то открывали — его комментарии к книге об Амундсене или к собранию сочинений шлиссельбуржца Николая Александровича Морозова, его размышления о романе Веркора «Люди или животные». Специальных работ я не понимал, а понимал именно эти, общие... Или же — то общее, что было в его специальных работах. А там всегда были выходы в историю, в философию. Стоит прочесть, например, его посмертно опубликованную статью «Поли- и моно-». Она

ставит одну за другой, своеобразно, проблемы жизни на других планетах, теории развития, астробиологии, законов, управляющих ходом эволюции, трактует, как понимали эволюцию Энгельс и Ленин...

Кто сможет сказать, что из написанного Любищевым останется,— может, именно общефилософские или науковедческие работы? Он сам об этом не думал, решая по-пастернаковски:

> ...но пораженье от победы
> ты сам не должен отличать.

Нет, должен...

Что позволено поэту, не позволено ученому. Не позволено ему утрачивать способность самокритики. Он обязан отличать удачные результаты от неудачных, нужные работы от ненужных и поражения от победы. Не для того Любищев создавал, отшлифовывал свою Систему, не для того он экономил время, чтобы тратить его потом на свои увлечения. В какой-то мере он дискредитировал свою Систему. Она не удержала его, не воспротивилась — она так же послушно стала служить его слабостям, как служила его силе.

...Но что если Любищев с какого-то момента иначе работать не мог? Желание откликнуться на то, что его волновало, стало потребностью его натуры. С какой стати он должен был насиловать себя? Он хотел как можно полнее воплотить в самых разных своих работах все стороны своего разума, все, что задевало его; нравственные проблемы представлялись ему иногда важнее научных, и он не отставлял их в сторону.

Так-то так, но что же тогда называется разбросанностью?

Писатель доволен, когда его герой начинает поступать вопреки логике. Должен сделать то-то — и вдруг под влиянием чувств совершает нечто не предусмотренное и самим автором. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в то же время по-человечески понятны. Выдуманный герой в такие моменты приближается к полнокровному живому человеку и убеждает своей противоречивостью.

Но когда тот же самый писатель сталкивается в знакомом ему человеке с малопонятными действиями, он обязательно будет искать какое-то логическое объяснение. А если писатель описывает этого человека или же какое-либо историческое лицо, то уж тут во что бы то ни стало постарается найти причину его действий и мотивы и вывести их со всей точностью и последовательностью. То есть — устранить всякую противоречивость.

Это самое произошло у меня с Александром Александровичем Любищевым. Мне обязательно надо было растолковать его поведение, обнаружить, в чем там секрет. Я убежден был, что все дело — в моей недогадливости. В неосведомленности.

Может быть, я не учитываю общественный его темперамент; может, через историю, философию он пытался выразить то, что всех нас так занимало эти годы. Отсюда его интерес и к Ивану Грозному, и к этике.

А может, биологические проблемы, поднятые Любищевым, затрагивали множество укоренившихся предрассудков. Куда бы он ни обращался — к диалектике, к истории, к механике, к учениям Коперника, Галилея, к философии Платона,— повсюду он умудрялся видеть вещи иначе, чем видели до него. Он наталкивался на чужие заблуждения: куда бы он ни ткнулся, повсюду они возникали,— и он обязательно должен был расправляться с ними. Способность видеть то, что не видят другие,— мучительная способность. Великолепный этот талант — скорее наказание, чем отрада.

Вместо того чтобы уклониться, он вступал с ними в бой. Они вырастали как головы лернейской гидры. И опять он должен был рубить их — Геракл, которому никто не задавал работ и никто не подсчитывал его подвигов.

А все же почему — должен? Ведь никакой логики тут не было. Любищев жил по Системе, которая заставляла поступать логически, подсказывала наиболее разумные, продуманные решения. Из всех вариантов она выбирала самые выгодные. Что могло быть лучше такого советчика! Но в одном случае она отказывала. Когда он поступал вопреки своей пользе. Перед противоречивостью Система была бессильна. Слабой логике она могла противопоставить сильную. Тут же логики не было, а все шло наперекор разуму. Система подсказывала одно поведение, Любищев же вел себя иначе, нелепо, как бы

по самому невыгодному, непредвиденному варианту...

Почему?.. Я вдруг понял, что не нужно отвечать на этот вопрос. Незаконный этот вопрос. Глупый. Ничего не надо больше искать. Наконец-то я наткнулся на то, что уже нельзя объяснить. Это была материковая порода.

Узнать другого человека — это и значит добраться до его противоречивости.

Узнать-то я узнал, а вот объяснить не мог. Узнать и понять — это ведь разные вещи.

Противоречия эти, однако, не обессиливали его. Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопроса о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его энергичной деятельности. Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в будущее.

Впрочем, и это не всегда помогало. Ему хотелось ни на что не отзываться, ни о чем постороннем не задумываться, остаться наедине со своей главной, единственной, давней работой. Ему хотелось примириться с действительностью, не обращать на нее внимания. Ничего этого он не мог. Его разрывало на части. Трещина шла через его душу. Это было мучительно. Еще больнее было от того, что он не знал, выполняет он свой долг — или же нарушает его. Жертвует он собой — или же уклоняется от боя...

Глава четырнадцатая—счастливый неудачник

Выполнил ли Любищев намеченную программу? Природа дала ему (или он взял у нее?) для этого все — способности, долгую жизнь; он создал Систему, он, пусть с уклонениями, постоянно следовал ей, используя и время и силы...

Увы, он не выполнил намеченного. Под конец жизни он понял, что цели своей не достиг и не достигнет. Пользуясь своей Системой, он мог точно установить, насколь-

ко он не дойдет до когда-то поставленной цели. Ему исполнилось семьдесят два года, когда он решил сосредоточить силы на книге «Линии Демокрита и Платона». Он рассчитал, что она займет лет семь-восемь и будет последним его трудом. Как всякий последний труд, он станет главным трудом, в котором предстоит разобрать общебиологические представления.

По ходу работы центральная часть стала обрастать общефилософскими размышлениями, гуманитарными дисциплинами — и не случайно, потому что речь должна была идти о единстве человеческого познания.

За несколько лет он дошел до Коперника. Стало ясно, что вряд ли он успеет написать биологические науки. Намеченные исследования по конкретной систематике тоже сорвались. С 1925 года он всячески сужал свои занятия насекомыми. От рода Апион отказался, оставил земляных блошек — и тех пришлось сократить. К 1970 году он решил задачи надежного определения самок всего шести мелких видов Хальтика. Как много было задумано и как мало сделано! Сорок пять лет работы над этими Хальтика — и такой ничтожный итог.

Его друг Борис Уваров, который начинал вместе с ним, за эти годы из двух тысяч видов африканских саранчевых описал около пятисот новых видов. Всю жизнь Уваров занимался только саранчовыми и стал первым в мире специалистом, организовал борьбу с саранчой в Африке во время второй мировой войны, за что получил ордена от Англии, Бельгии, Франции. Правда, Уваров ставил себе иные задачи, но все же...

А когда-то Любищеву мечталось связать работу по блошкам с общетеоретическими проблемами. Не успел. Так что и здесь его постигла неудача. Правда, работа по вредителям дала результат, и по энтомологии, попутно, некоторые обобщения удалось получить (и не такие малые, как выясняется теперь); например, о том, что иерархическая система неуниверсальна. Это касалось не только биологии. Его работами заинтересовались математики, философы, кибернетики. Можно найти немало утешений. Но задуманного сделать не удалось. То, ради чего он отладил свою Систему, которая стала системой жизни,— этого сделать не удалось. Не повезло. Несчастливый он был человек.

...Он один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей. Здоровья не бог весть какого крепкого, он, благодаря принятому режиму, прожил долгую и в общем-то здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности, ему почти всегда удавалось заниматься тем, чем он хотел, тем, что ему нравилось. Не правда ли, счастливый человек?

В чем же тут счастье? Программа, которую он разработал, вычислил, распланировал,— завалилась. Ни один из ее пунктов не получился так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при его жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой что ни на есть насущной, она не разочаровала — наоборот, он своими работами приблизился к ней настолько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна. И достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немногого, еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался, и все было напрасно. Несчастье — как же иначе это назвать? — несчастливый человек!

...У него было все, чтобы прославиться: воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно — пропорции; можно сказать, весь фокус — в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка — и все насмарку. Я знал физика, который должен был совершить по крайней мере три крупнейших открытия,— и всякий раз он перепроверял себя еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе — слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства, или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер.

Любищеву всего этого хватало, ему отпущено было в самый раз; если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего, его ждала бы известность Фабра или Уварова...

Не повезло ему, подвела его Природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он-то, когда брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову: «Берись за то, к чему

ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах утешный был конец». А утешного конца и не вышло.

Неудачник. Он и сам себя так называл.

Но почему же с годами все больше молодых ученых — да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных — тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой?

Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей: он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял — зная, что не увидит всходов.

В нем жила уверенность, что то, что он делает,— пригодится. Он был нужен тем, кто останется жить после него. Это было утешение, привычное скорее художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем, каждый по-своему.

Недавно, комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши ученые Сергей Викторович Мейен и Алексей Владимирович Яблоков писали:

«Среди биологов А. А. Любищев известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволюционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то не удивительно, что и в подходе к этим проблемам А. А. Любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной «оппозиции» — особая ценность. Даже многие научные противники благодарны Любищеву за умную критику... Критики, подобные Любищеву, видимо, вообще необходимы науке — даже если они в конце концов окажутся неправыми».

Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений.

«...Вы выдвигаете положение: наука связана с общественными истинами, философия ни одной такой обще-

признанной истины не имеет... Дорогой мой, с какой луны Вы свалились? Сейчас как раз можно сказать обратное: в самых точных науках нет общепризнанности, а, наоборот, имеется большое расхождение мнений. В математике: ряд неэвклидовых геометрий, разброд в философии математики... какой разброд в теории вероятностей и математической статистике! В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целая куча, в генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнобой... Но тут Вы говорите: «Кроме того, существуют незыблемо установленные факты, например, что Земля кругла, а не блин». Есть окончательно установленные отрицания, например, что Земля не блин, но что касается положительного значения формы Земли, то на этот счет сейчас удивительное разнообразие мнений... Создается математическая теория очертаний Земли, формы осколков ставятся в связь с историей Земли. В частности, указывается, что когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, чем сейчас, они составляли почти одно целое... Чем менее точны науки, тем они более неподвижны, а в точных колоссальная, постоянно идущая перестройка...»

У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот что, пожалуй, существенно: он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. Орган, заставляющий мыслить, у них атрофировался. Тем более что бездумье нисколько не мешает их научным показателям...

Он отвечает молодому талантливому ученому (которому, кстати, он был многим обязан), сетующему, что нет времени на размышления:

«...Ученый, не имеющий времени на размышления (если это не короткий период — год, два, три),— конченный ученый, и если он

не может переменить свой режим, чтобы иметь достаточно времени на размышления, то ему лучше бросить науку... Вы сейчас уже доктор наук, имеете солидное положение, Вам уже некуда торопиться, и надо постараться осознать себя. Какую цель Вы себе ставите? Если Вы ставите цель — достигнуть максимально возможного результата в науке, то надо обязательно оставить время на размышления... «Наблюдения и размышления» так озаглавил свои произведения великий К. фон Бэр, а в современных работах очень много наблюдений и часто очень мало размышлений... Ваши философские суждения (как и суждения по философии большинства биологов) стоят на уровне суждений по биологии П. (писатель, который написал в свое время ряд малограмотных статей по биологии.— *Д. Г.*): в обоих случаях — не только полное невежество, но и догматическое утверждение того, что на самом деле является суеверием. Можно ученому философию игнорировать? Можно, но тогда уж не приводить философских аргументов... Найдите время, чтобы поразмыслить над тем, что Вам сейчас кажется бесспорным, не пишите популярных книг, пока Вы этого пробела не заполнили, или плюньте на эволюционное учение, которое при невозможности размышлять Вам, очевидно, не под силу».

Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность? А гений — больше, чем талант! Но чем же человек виноват, что нет у него таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того, талантливого? Да, гениальный ученый даст науке больше, чем средний. Но в гениальном ученом выражает себя скорее Природа, чем он сам.

Любищев — не гений; гений — всегда заканчивающий, ему приходится завершать то, над чем трудились умы предтеч. Любищев и интересен мне тем, что не гений, потому что гений разбору недоступен, вникать в не-

го, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищенья. Любищев же манил за собой тем секретом, с каким удалось ему осуществить себя. Хотя никакого секрета он не делал, отвергал разговоры о чудесах своей работоспособности.

Кроме Системы у него имелось еще несколько правил:

> «1. Я не имею обязательных поручений;
> 2. Не беру срочных поручений;
> 3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю;
> 4. Сплю много, часов десять;
> 5. Комбинирую утомительные занятия с приятными».

Правила эти невозможно рекомендовать, они — его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма: он изучил как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим.

Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй лучше сказать иначе: времени у них больше, чем у других. Мне вспоминается, как в Дубултах Константин Георгиевич Паустовский подолгу гулял, охотно заводил свои веселые устные рассказы; можно было подумать, что ему нечего делать,— он никогда не торопился, не ссылался на занятость и при этом успевал работать больше любого из нас. Когда? Неизвестно.

Похоже, что люди, подобные Любищеву, устанавливают тайные, неведомые никому отношения со Временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому ненасытному божеству.

Человек всегда относился ко Времени враждебно. Пространство, материю — этих удавалось как-то приручить. Время оставалось тем же дико-первобытным. С тех пор как человек заглянул в дали Вселенной, услышал тиканье мировых часов, отсчитывающих миллиарды лет, увидел, как рушатся галактики,— Время, пожалуй, стало еще страшней.

Меня поражала у Любищева смелость, с какой он обращался с плотью Времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим «теперь». Он не боялся измерять тающий остаток жизни

в днях и часах. Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным; ему и в голову не могло прийти — «убивать время». Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед Временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок Любищева состоял в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором отдачи. Жизнь — долгая-предолгая штука. В ней можно наработаться всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслушаться музыки, воспитать детей, жить в деревне и жить в городе, вырастить сад, выучить молодых...

Жизнь спешит, если мы сами медлим.

Ведь мы живем какими-то избранными моментами и запоминаем лишь сгустки жизни. Полчаса — для нас это не время. Мы признаем только целые поля Времени, его расчищенные, свободные от обстоятельств и случайностей площадки. Там мы готовы развернуться. Меньшее нас не устраивает, мы сразу же ссылаемся на помехи, на обстоятельства. О, могущество независимых от нас обстоятельств, властных, оправданных! На них так удобно переложить ответственность...

Мы не замечаем, как разлагают и обессиливают душу эти ссылки... Мне хотелось привести печальный пример моего друга, когда-то неплохого ученого, а потом руководителя крупного института. Но тут же мне вспомнилась точно такая же судьба одного писателя, которого я близко знал, и еще одного писателя. Должности действительно отнимали у них много времени и мешали работать, и постепенно они привыкли к власти этих обстоятельств. Все они мечтали освободиться и часто говорили, как вот тогда-то они займутся любимым делом как следует, ибо урывками книги писать нельзя и наукой заниматься невозможно. Они освободились. Для каждого пришел такой день. И скоро обнаружилось, что никто из них уже не может работать. Они долго не признавались себе в этом, они искали обстоятельств, то есть каких-то поручений, отсрочек, избегая свободы, о которой они столько твердили и, возможно, добивались. Первый запил и покончил с собой.

Второй как-то угас, незаметно и тихо. И третий... Другие живы.

Любищев называл себя неудачником, и при этом он чувствовал себя счастливым человеком.

Отчего возникает ощущение счастья? У него — наверное, от полноты осуществления себя, своих способностей. Неудачник и счастье — не знаю, как это совмещалось. Может быть, он понял, что главное — это не результаты...

Он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, на хождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания...

Он избегал обязательных визитов, праздников.

Но было одно постоянное занятие, на которое он «раскошеливался», это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям: сколь бы они ни были подробны, щедры — тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по десять-двадцать-сорок страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланные рефераты, рукописи, и отзывы о книгах, и разбор разных статей. С чем только к нему не обращались! Спрашивали его мнения о Тейяре де Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о театре, о демографии, о кашалотах...

Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки:

> **1969 год. Получено 419 писем (из них 98 из-за границы). Написано 283 письма. Отправлено 69 бандеролей.**

Адресаты его — институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы... Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининым, составляют как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками.

Если взять только научную переписку Любищева, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе — энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще невесть чего.

Я никогда не мог понять, каким образом ухитрялись в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века.

В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать. Полученные письма он как бы размечал, ставя знак: нужно отвечать или нет.

> «На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной.
>
> Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу — этого требует вежливость. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, которая прописана в житии Николая-чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди... В частной переписке всякое обязательство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет прав требовать ответа на свое письмо, ответ всегда — или результат договора с корреспондентом, или любезность (вовсе не обязательная). Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, которую я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует».

Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия.

Исподволь, однако, подбиралась досада — да как же не жаль ему было расточать такие богатства втуне! Не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему, Любищеву, малознакомого. Некоторые из писем — готовые статьи: бери и печатай; в других привлечен огромный материал; он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе. И времени расходовал на это — уйму. Ну ладно, отвлечения, какие-то статьи об истории, так то хоть статьи, а это же — частные письма, их прочитает адресат — и все, больше ни для кого они не предназначены.

Опять — разбросанность, опять — противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем... Среди адресатов были и мало совестливые: хватай, пользуйся, благо задарма.

Все так, если судить по нашим законам. Но у Любищева были свои законы. Письма имели адрес, их ждали, они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги,— а нужны человеку имярек, и это было Любищеву дороже времени. Так же как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любищев ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он ни ценил Время, он мог жертвовать и им. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и Науки, и Времени...

Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был исступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал — не потому, что не мог заработать, а потому, что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры, Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской — она же жилище — была самая спартанская. К другим художникам он относился в лучшем случае критически, а чаще — просто

не признавал. Опять же из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений; единственное, к чему была устремлена вся его натура,— живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы — это, и только это, было способом его существования, это было жизнью... Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало. А вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же — одержимость, фанатичность помогали ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнуты энтузиазмом, живописные в каждом малом кусочке полотна,— все это получалось, несмотря на одержимость? Или благодаря ей? Одержимость, значит, помогает таланту? Ничего в ней нет плохого? Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любуемся его картинами.

Так что же, чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым...

Важны результаты, важно открытие, добытая истина...

Вроде бы все так, но, почему-то уже без всяких доводов, мне по-прежнему несимпатична, неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его — и возмущаюсь, вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или неправ, и имел ли вообще человеческое право на это?..

Письма были то немногое, чем Любищев мог практически помогать людям. Возможность помочь делала его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил, он совершал работу редактора — правил, подсказывал, советовал. К нему обращались малознакомые, вовсе незнакомые — он не отказывал.

Масштабы его деятельности соответствовали целому учреждению: «Главсовет», «Главпомощь», «Бюро научных услуг» — что-то в этом роде. Кроме научных советов, были и нравственные. Он не стеснялся выступать наставником, учить, требовать, разбирать поступки. Лично для меня наиболее драгоценное в его письмах — это нравственное учительство. Вот, например, он пишет одному из своих корреспондентов:

> «...О Чижевском — я не уверен, что Вы правы, скорее склонен думать, что Вы неправы. Вы пишете: «Сейчас разобрался в двух вещах: 1) чижевщина — т. е. связи эпидемических явлений с солнечной активностью. Это чудовищное очковтирательство, на каковое клюнуло Общество испытателей природы...» ...Чижевского я читал немного (помню, целый том по-французски), просматривал давно. Называть человека очковтирателем и проходимцем значит иметь уверенность в том, что все его данные безграмотны, фальсифицированы и направлены для достижения личных, низменных целей... Даже если его выводы сплошь ошибочны, его ни очковтирателем, ни проходимцем назвать нельзя. Возьму для примера такого автора, как Н. А. Морозов. Я читал его блестяще написанные «Откровение в грозе и буре» и «Христос» (семь томов). Морозов совершенно прав, когда пишет, что если бы теории, поддерживаемые «солидными» учеными, получили бы такое обоснование, как его, то они считались бы блестяще доказанными... Но его выводы совершенно чудовищны: царства — египетское, римское, израильское — одно и то же. Христос отождествляется с Василием Великим, Юлий Цезарь — с Констанцием Флором, древний Иерусалим не что иное, как Помпея, евреи — просто потомки итальянцев... и проч. Можно ли принять все это? Я не решаюсь, но отсюда не значит, что Морозов очковтиратель и проходимец. Можно сказать, что Морозов собрал Монблан фактов, но против него можно выставить Гималаи фактов. Но ведь совершенно то же самое можно ска-

зать, по моему глубокому убеждению, и по отношению к дарвинизму. Дарвин и дарвинисты действительно собрали Монблан фактов, гармонирующих с их взглядами, но моя эрудиция позволяет мне сказать с уверенностью, что дисгармонируют с дарвинизмом Гималаи, которые все растут и растут...» И далее «...Могут сказать, что дарвинизм все-таки приводит к разумным выводам, а Морозов — к глупым... но не все работы Морозова приводят к нелепым выводам. Очень высоко ценят химики работу Морозова «Периодические системы строения вещества», где он предвидел нулевую группу, изотопы и еще что-то. Это, несомненно, был очень талантливый человек, но своеобразие его жизни позволило развиться лишь одной стороне его дарования — совершенно исключительному воображению — и, по-моему, недостаточно способствовало развитию критического мышления. Как же быть? Принять или отвергнуть Морозова? Ни то и ни другое, а третье: использовать как материал для построения критической гносеологии.., Можно критиковать Чижевского, разобрав его доводы и показав, что они ничего не стоят... Это означает ошибочность взглядов Чижевского (как и ошибочность взглядов Морозова), но не дает нам еще права называть его очковтирателем. Но мне кажется, что Вы отвергаете Чижевского из общих «методологических», как у нас говорят, соображений. Тут я решительный Ваш противник. История точных наук в значительной мере является борьбой сторонников «астрологических влияний» (куда относятся Коперник, Кеплер и Ньютон), допускавших действие небесных тел на земные явления, и противников (наиболее выдающийся — Галилей), полностью это отрицавших. Классические астрологи ошибались, допуская возможность простыми методами, определять судьбу индивидуальных людей, противники их, со скрежетом зубовным приняв астрологический принцип всемирного тяготения, стараются дальше «не пущать». Последние

годы «астрологические принципы» как будто наступают: магнитные бури, солнечные сияния, связь с эпидемиями чрезвычайно вероятна. Но ведь эпидемии вызываются бактериями! Верно, но вспомним спор Петтенкофера с Кохом: в опровержение гипотезы Коха Петтенкофер выпил пробирку с холерными бациллами и остался здоров: опроверг ли он Коха?..»

Терпеливо, фактами и примерами, он поднимал нормы научной этики. Его слушали. С ним спорили, на него обижались, и тем не менее люди больше всего нуждались именно в нравственной его требовательности. Более того, у меня было такое ощущение, что нуждались в том, чтобы их осуждали, упрекали.

Пользуясь каждым случаем, Любищев требовал честного, аргументированного спора, терпимости к инакомыслящим. Он был из той редкой категории людей, с которыми спорить приятно. Начиная бороться с серьезным противником, он старался усвоить положительные стороны противника.

«Истинный ученый и искатель истины никогда абсолютной уверенности не имеет (дело касается тех областей знания, где есть споры), он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним, и не из тщеславия, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения, а не прекращает спора до тех пор, пока не убедится, что понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков, и что, следовательно, дальнейший спор бесполезен... Серьезный спор может быть кончен тогда, когда автор может изложить мнение противника с той же степенью убедительности, с какой его излагает противник, но потом прибавить рассуждения, показывающие корни предрассудков противника».

Правила по строгости своей и щепетильности напоминают чуть ли не дуэльный кодекс.

Если когда-нибудь подобрать выписки из разных сочинений и писем Любищева касательно этики, то получится целый свод морали, правил жизни и поведения — не то чтобы законченное этическое учение, но, во всяком случае, обширная этическая программа, своеобразная и точная. Своеобразие ее хотя бы в том, что понятие «порядочного человека» мало устраивало Любищева. «Порядочными людьми» были для него те, умственный и моральный уровень которых соответствует «уровню коллектива». Он же требовал иного — инстинной моральности, то есть чтобы человек самостоятельно работал над повышением этого морального уровня; чтобы мораль для него была не исполнением прописей, а процессом преодоления, работы. Он понимал, что таких людей всегда немного, но всегда их было достаточно, чтобы обеспечить моральный прогресс человечества.

Одним из образцов ученого для него был Климентий Аркадьевич Тимирязев. Почему именно Тимирязев? Отнюдь не из-за чисто научных достижений, не из-за каких-то способностей исследователя, которым Любищев мог бы позавидовать. Нет, прежде всего из-за его нравственных качеств. Не то чтобы он специально изучал мемуаристику, и лично Тимирязева он не знал — судить он мог, лишь читая его работы. Какие же именно душевные качества извлекает Любищев из научных сочинений Тимирязева: а) преданность чистой науке; б) сознание общественного долга ученого перед народом и обществом.

Многим эти две тенденции кажутся несовместимыми.

> «...Одни ученые берут первую часть и, замыкаясь в башню из слоновой кости, считают, что они вправе игнорировать запросы времени, при этом такие ученые очень часто смешивают истинно чистую, теоретическую науку с погоней за бирюльками, с бесполезной наукой. Другие, выражая (часто только на словах) свою готовность служить народу и обществу, заниматься узким практицизмом, на деле не двигают ни чистую науку, ни практику. Великолепную отповедь таким дельцам от науки Тимирязев дал в подлинном шедевре «Луи Пастер».

Но эта великолепная биография открывает нам и другую замечательную сторону личности Тимирязева: он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пастер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом, и в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противников Пастера, он решительно принял сторону Пастера».

В каждом из ученых, кого он чтил,— Карл фон Бэр, Фабр, Коперник,— на первом месте стоял нравственный элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз — какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение Любищева.

С трогательным постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям — Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гурвичу.

Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандас Ганди.

При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про Любищева никогда нельзя было сказать: «он стал». Он всегда —«становился». Он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам.

Помогала ему Система. Или заставляла его...

Глава пятнадцатая, которую лучше всего назвать—„Искушение“

Не стоит считать его уж таким альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же и сберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе с томами конспектов прочитанных книг — оттуда Любищев часто черпал заготовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись. Система помогала ему использовать весь огромный, накопленный десятилетиями материал.

Под воздействием Системы жизнь, несмотря на внешние события, обретала монотонность, столь нужную и благотворную для ученого. Ритмично, с назойливостью метронома, она отщелкивала месяцы и годы, не разрешая забыть о текущем времени.

Она создавала ему максимально разумную и здоровую жизнь. Она, его Система, обеспечивала ему такую занятость, что ему легко было не замечать многих бытовых, да и житейских неудобств. Она помогала ему не раздражаться, легко, по-олимпийски, переносить и людскую глупость, и бестолковость служебных порядков и беспорядков. Этим объяснялось его спокойствие и здоровые нервы.

Ему нужно было очень мало: место для книг, для работы и покой. Конечно, покой — это не так мало. Покой в наше время — вещь дефицитная. Но покой Любищева был простейший — тишина и свобода от срочных дел. Он никогда не стремился иметь большую квартиру, дачу, машину, картины, красивую мебель — ту обстановку, уют, которые для некоторых входят в понятие покоя.

У него бывали случаи обрести такой комфорт, ничем особым не поступаясь. Так сказать, без компромиссов. Время от времени открывались высокие научные должности. Как возможность. Некоторые усилия — и он мог бы продвинуться... Но ему ничего этого не надо было. Ничего сверх самого необходимого. Не то чтобы он нарочно лишал себя каких-то благ — ему просто не нужно было многое из того, что считается обязательным. Глядя на роскошные квартиры некоторых своих ученых коллег, на эти гарнитуры, отделку, где столько сил, забот вложено в каждую дверную ручку, он мог удивленно повторить слова одного философа: «Как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь!»

Это была свобода. Он был свободен. Но окружающим, близким от такой его свободы было тяжко. Окружающие были обычные люди, они не могли довольствоваться той малостью удобств, какой хватало ему. Их тяготила его постоянная занятость, нескончаемость его работы, та мельничка из сказки, которая все молола и молола соль...

Его считали чудаком. Он не отказывался от этого звания. Сократа тоже считали чудаком, что, кстати говоря, полностью отвечало сущности сократовского ха-

рактера. Любищев понимал, что, вступив на еретический путь, быстрого понимания достичь невозможно. Недаром Оскар Уайльд говорил: «Когда со мною сразу соглашаются, я чувствую, что я неправ».

Истины, которые Любищев еще недавно защищал как оригинальные, завтра становятся банальными. Научную истину надо обновлять. Наука для него начиналась с сомнения и кончалась уверенностью. То же относилось и к философии.

Жизнь его нельзя назвать аскетичной. Все выглядело обыкновенно. Он занимался спортом. Плавал. Гулял. Мечтал купить новую пишущую машинку. Нужда была средней: то, что называется домом, выглядело ничем не примечательно; только близкие помнили, сколько за этой скромностью было упущенных возможностей — устроиться в Москве, в Ленинграде...

Он сознавал, что все это — неизбежная плата за свободу, за возможность оставаться самим собой. Плохо, конечно, что расплачиваться приходилось не ему самому, а самым родным и любимым людям.

Платить надо было и другим — при большой внутренней продуктивности его Система давала малый выход, то есть в печать работ попадало немного...

Всякий раз перед ним возникала необходимость выбора. Либо — приспособиться к требованиям научных журналов, редакций: писать так, чтобы не вызывать протеста, не дразнить, не перечеркивать господствующих взглядов. Он уважал своих противников, ему нужен был спор, а не возмущение. Это не означало приспособленчества. Но чтобы возникла дискуссия, ему надо было применять тактику. Выступать против учений, принятых большинством биологов, одному — против признанных корифеев,— для этого требовались терпеливые и умные ходы. В чем-то уступить, в чем-то отдать должное... И ничего в этом не было зазорного... Ведь он не просто предлагал новую формулу — он опровергал, он отрицал, и тут он должен был уметь переубедить.

Либо же — развивать свои взгляды на эволюцию, ни на кого не оглядываясь. Не считаться с противниками, а сохранять независимость. Думать не про победу своих идей, а про оснащение их. Остаться верным избранной Системе — то есть следовать намеченному плану, пункт за пунктом; писать так, как будто не существует никаких человеческих страстей, самолюбий; не иметь в виду, что

академик Н. говорил про Р. Фишера и что у Т. была за что-то премия...

Он выбрал этот последний, совсем не такой уж бесспорный вариант, тем самым обрекая себя на всякие трудности с печатанием. Иногда — на многолетнее молчание.

О нем забывали. Кто-то справлялся: где он, жив ли... «А-а, тот самый Любищев, который так обещающе начинал?» — «Кажется где-то преподает в провинции». Мало ли их, несостоявшихся,— провинциальных профессоров: когда-то они что-то сделали, потом так и застряли, угасли, что-то печатают в местных трудах, в сборниках, которые никто не читает. Не всем же удается удержаться...

Не следует думать, что это его не мучило. Провинциализм для ученого — вещь опасная, незаметная. В современной науке такие темпы, что вчерашние звезды сегодня вспоминаются с трудом. Это не литература, где можно писать, не заботясь о конкуренции, писать под спуд, впрок, в стол. То есть можно и в науке, но это очень рискованно,— слишком быстро все стареет. Это в XVII веке Кеплер мог утешать себя: «...Я писал свою книгу для того, чтобы ее прочли, теперь или после — не все ли равно? Она может сотни лет ждать своего читателя, ведь даже самому богу пришлось 6000 лет дожидаться того, кто постиг его работу».

Складывать написанное в стол было невесело. В сущности, каждый раз, начиная работу, он терзался перед выбором. Казалось бы, все было решено, но бесы снова и снова искушали его. Они были умны, современны. Они не обольщали его голыми блудницами, не булькали вином, не звенели золотом. Они знали, с кем имеют дело. Длинные влажные листы верстки шелестели и вкусно пахли краской, сверкали глянцевые корешки переплетов, где золотым тиснением поблескивала фамилия автора. «И ты бы мог, и ты бы...» — шептали страницы. Не ради славы, ни в коем случае, только ради пользы дела.

А всякий успех укрепляет положение, репутацию, а это, в свою очередь, приведет к тому, что его сделают членом редколлегии, Ученого совета, член-корром, а это опять же, позволит ему еще свободнее печататься и про-

пагандировать свои биологические идеи и поддержать своих молодых сторонников.

Пора, пора, довольно воздерживаться... В наше время — проповедовать научные истины в частных письмах? Средневековье! Неужели он всерьез надеялся на интерес потомков к его рукописям, надеялся на то, что время не обесценит его трудов?..

Древние отгоняли бесов молитвами. Любищев держался за свою Систему, она была как крестное знамение. Она позволяла различить крупицы будущего. Так, старые его работы, некогда напечатанные в провинциальных изданиях, не оставались незамеченными. Их все чаще цитировали. Однажды перепечатали за границей, и отовсюду начали приходить запросы на оттиски. Он хвалился количеством таких запросов. То же повторилось с другой статьей. Это был показатель.

Вдруг выяснилось, что этот гордец, отшельник, альтруист — нормально честолюбив. Не тщеславен, а честолюбив. Ведь это разные вещи! Тщеславен Герострат, честолюбив Кеплер. Впрочем, Герострат, как заметил Любищев, не самый хороший образец честолюбца:

> **«...За свой «успех» (ибо, сожгя храм, он-таки добился своего — прославился на века) он поплатился жизнью,— множество куда более вредных честолюбцев строят свой успех на огромных пирамидах трупов».**

Не ожидая похвал, он научился сам воздавать себе должное. Система учета давала ему объективные показатели своего состояния. С гордостью он отмечал 1963 год как рекордный по числу рабочих часов — 2006 часов 30 минут! В среднем в день 5 часов 29 минут. А до войны получалось примерно 4 часа 40 минут! Он отчетливо понимал подлинную цену этим цифрам, он сам устанавливал свои нормы, сам следил за собою с секундомером в руке, сам награждал и сам наказывал себя.

> ...Ты сам свой высший суд;
> Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
> Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Суд, творимый им, был строже иных судов — потому что он судил себя на основании документов и фактов, проводя всякий раз тщательное расследование.

При таком суде некоторые события получали неожиданное оправдание, а злодеи и обидчики оказывались благодетелями.

— Хвала мудрому начальству,— восклицал Любищев,— приостановившему мне возможный путь к яркой карьере!

Не нам понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам!

Под личиной смешка он и в самом деле был доволен, что так все сложилось. Он умел использовать себе на пользу не только отбросы времени, а и подножки судьбы. Куда бы его ни посылали, где бы он ни жил — он жил полноценно, все с тем же крайним напряжением. Провинция? Тем лучше, больше времени работать, думать: спокойнее, тише, здоровее... В любом положении он отыскивал преимущества. Не мирился, не ждал милости,— вся его Система была призывом к повышению человеческой активности.

Есть такие натуры: там, где они находятся, там — центр мира, там проходит земная ось. То, что они делают, и есть самое наиважнейшее, самое необходимое.

Пять с половиной часов в день чистого труда. Круглый год! Это ли не достижение! Это вам не жук на палочке!

...Что это — упоение собой? Эгоизм? Нет, нет, это счастье осуществления самого себя. А человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу... В этом была требовательность к себе — не к другим, это мы умеем, а прежде всего — к самому себе. В какой-то мере и то, что он писал, он как бы писал для себя, соотносил написанное с собою. Большая часть разного рода сочинений пишется ведь для других. Трудятся, чтобы учить других, а не для того, чтобы познать себя и внутренне просветиться самим. Я знал авторов, которые из написанного ими не делали никаких для себя выводов: то, на чем они настаивали, никакого отношения к ним самим не имело. Единственное — когда книга встречала возражения, они бросались защищать ее. Воспитывать — других, требовать мыслить — других, призывать к добродетелям — других... Автор же при этом никак не обращает на себя свои рассуждения, он считает себя вправе как бы самоотделиться; важно, что мысли его полезны, он

отвечает за их правильность, а не за их соответствие с его жизнью. Соответствует или не соответствует — не важно, никому нет до этого дела, важно, чтобы было талантливо. Вокруг этого все и вертится (в лучшем случае!) — талантливо или неталантливо. А что сам талант при этом исповедует, какова лично его этика, следует ли он тому, к чему призывает,— это считается второстепенным делом.

До поры до времени.

Пока не встретится человек, у которого требования к другим и требования к себе совпадают. И тогда сразу чувствуется преимущество цельности. Вот почему мы так радуемся, видя среди ученых, философов, писателей, среди мыслителей, учащих жить,— примеры высокой морали. Особенно богата этим история русской интеллигенции — тот же Владимир Вернадский, и Лев Толстой, и Владимир Короленко, и Николай Вавилов, и Василий Сухомлинский, и Игорь Тамм...

С совершенно особым чувством читается книга Альберта Швейцера «Культура и этика» — именно потому, что Швейцер подвигом всей своей жизни заработал право обращаться к нашим душам.

Таланту мы готовы многое прощать.

Александр Любищев принадлежал к тем талантам, которые не желали пользоваться льготами и снисхождением. Его дневники, его письма — летопись духовной работы, которую вел этот человек больше чем полвека над формированием своей личности.

Такая работа многим казалась ненужной, даже раздражала. Было так удобно считать, что среда, общество в первую очередь, воздействуют на человека, что обязанность общества — работать над личностью, заставлять ее становиться лучше, требовать от нее и т. п.

Любищев требовал от себя сам, сам себя контролировал, сам за собой следил, сам перед собой отчитывался.

Перед собой ли? Только ли перед собой? Снова и снова я пробовал объяснить чувство, которое владело им. Скорее всего это ощущение бесценности дарованной жизни, которая не просто — единственная и неповторимая, но и каждый день которой наделен той же единственностью и неповторимостью.

Как ни странно, но его рационализм рождал энтузиазм, от его методичности возникало каждодневное удивление перед чудом жизни. Его Система как бы обновляла эту чудность, не давала к ней привыкнуть.

Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей; за свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны и на что — неспособны. Они не знают, что им не под силу. Печальнее всего эта благоразумность в науке. Ученый, который выбирает себе задачи по силам, достигает почета и солидной репутации. Он не совершал ошибок. Списки его работ безупречны, никто их не опровергал, они всегда были результативны. Если он брался за дело, он доводил его до конца. Но где-то там, за чертой этого длинного списка его печатных работ, начинается ненаписанное, несделанное — вот там, среди несовершенных ошибок, избегнутого риска и даже позора, таились, может быть, действительно великие открытия. И уж наверняка — открытие самого себя. Обидно прожить жизнь, не узнав себя — человека, который был тебе вроде ближе всех и которого ты так любил...

В этом смысле Любищев изведал себя. Он мерил не задачи по своим силам, а свои силы по задачам. Лучше иметь духовный долг, считал он, чем сохранять душевную безопасность.

У Демокрита есть выражение: не поступок как таковой, а намерения определяют нравственный характер. Раньше я не понимал этой мысли. И не принимал.

Любищев многое не успел — не получилось, но для меня было важно, что он хотел, его намерения: из них возникало душевное притяжение его личности.

Через свою Систему он изучал себя, испытывал: сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять? Сколько и как? Не перегружал себя, не взваливал не по силам; он шел по кромке своих способностей, оценивал их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания. Для чего? Для самосовершенствования? Для наивысшей самоотдачи? Для полноты выявления себя?

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек мог знать, на что он способен! Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется,— он и смелее, чем он себя считает, и выносливее, и сильнее, и приспособленней.

В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческих душ. Именно душ, прежде всего душ, потому что в этих истощенных, изглоданных муками телах поражала энергия души, ее стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, способный вынести столько лишений. Для человека — как и для стали, для проводников, для бетона — существуют пределы допустимых нагрузок. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти и люди могут жить не физическими силами — их не было, они были исчерпаны, а люди продолжали жить и действовать силами, не предусмотренными медициной: любовью к Родине, ненавистью, злостью. Во время блокады поражала не смерть — она была законна, — поражала живучесть: то, что мы чистим от снега траншеи, таскаем снаряды, воюем.

Героизм войны — исключение. Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с необычной полнотой. Не весть откуда — и нахлынут силы, и ум заострится, вскипит воображение... Счастливое, блаженное это состояние писатели называют вдохновением, спортсмены — формой, ученые — озарением; это бывает у каждого человека — у одних редко, у других чаще... Вот это-то и важно: возможность такого состояния, когда человек превосходит себя, свои обычные способности и пределы. Значит, это возможно, а если это возможно *однажды,* то почему не дважды и не каждодневно?..

Глава последняя — с грустью и признаниями

Превзойти свои возможности...

Не только в критических обстоятельствах, а, судя по примеру Любищева, вся деятельность может превышать обычные возможности.

Ресурсы человека еще плохо изучены.

Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни и старался думать о себе, как об авторе, в третьем лице, потому что так казалось легче.

...Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди — в конце двадцатого века — так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть, хуже своих предков.

По мере изучения архива Любищева автор невольно оглядывался на себя — и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое «меньше себя». Это было грустно. Тем более что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью.

В чем другом, но в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем — завод, вечером — институт; они — и заочники, и вечерники, и экстерны; они выкладывались честно, сполна.

Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько Любищев за те же самые пятидесятые годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом — насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило.

В этом смысле к Любищеву вполне можно отнести слова Камю: «Жить — это выяснять».

Перечитывая письма, заметки Любищева, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать. И что, может, хорошая система нужнее энтузиазма.

Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время, возможно, он зато больше развлекался или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе?

Если бы! Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора.

Так что никаких «зато» автор найти не может.

На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту Любищева и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается... Талант тут не поможет. Скорей всего, тут сказывалась Система.

Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.

Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со Временем. Куда оно пропада-

ло? Исчезало — неизвестно когда, как будто автор жил меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы — почему же нет закона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпадать из человеческой жизни?

Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее Время, все же существует — укором нам, нашей виной...

В совершенстве героя было что-то укоряющее. Странно, что герой, который был так хорош для жизни, так дивен для общения, оказался не хорош для изображения. Жизнь его получалась настолько праведной, что ясно было, что автор чего-то не разглядел. Либо же утаил, преувеличил.

Один журналист сказал автору:

— Так не бывает. Значит, ваш герой — человек одной, но пламенной страсти. Значит, он не гармоничный. В этом-то и парадокс: хотим, чтобы человек всесторонне и гармонично развивался, а хорошо известно, что более всего матери-истории ценны как раз люди, на всю жизнь одержимые одной страстью...

Он был уверен, что «одна, но пламенная страсть» исключает гармоничное развитие. Это была приятная житейская мудрость: страсть мешает человеку всесторонне развиваться. Лучше без страсти, безопаснее. Всего понемногу. Как будто рекомендованные комплекты интересов и есть гармония. Как будто существуют действительно гармоничные люди, лишенные страсти.

Возможно, кому-то это и удобно и желательно, но автору почему-то вспоминаются примеры наших великих писателей, ученых, художников — людей широкой культуры и в то же время могучих страстей, порой даже губительных.

Однако страсти их не были фанатизмом, а были той самозабвенной увлеченностью, без которой не может жить творческая душа.

Всесторонность совмещалась у Любищева с верной, единой страстью. Разлад между ними не мешал ему — недаром он отказался от аскетического обета, принятого в юности.

Все это, однако, нисколько не проясняло автору проблему Времени.

Система Любищева могла экономить имеющееся время, но не увеличивать его. Однако дело было даже не

в количестве: само Время получало у Любищева другое качество; можно подумать, что ему удалось установить какие-то личные взаимоотношения со Временем.

Причуды Времени давно интересовали автора. Маленькие дети, например, как заметил автор, плохо чувствуют время. Ощущение его растет и обостряется с возрастом, и к старости — чем меньше остается Времени, тем слышнее становится его ход.

Автор вспоминает, как поразила его в самолете, летевшем через океан, в США, женщина, которая сидела рядом и вязала свитер. Спицы позвякивали в ее руках. Петля цеплялась за петлю... Внутри межконтинентального времени струилось старинное, неизменное время наших бабушек. На печи сонно попискивали цыплята, светилась лампадка, пахло хлебом, все было как в детстве, в деревне Кошкино. А под крылом «Боинга» проносились Азорские острова... Автор также вспоминает войну, танковый триплекс, перекрестье прицела — и время, которое вдруг кончилось. Оно явно остановилось вместе с сердцем — стрельба замерла, оборвался звук мотора, в раскаленной паузе дрожало перекрестье прицела и надвигалось орудие немецкой самоходки...

Таким образом, время идет то медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Есть моменты, когда ход Времени чувствуется воспаленно остро, оно мчится с такой скоростью, что только ахаешь, оглянуться не успел, и день куда-то провалился, и снова стоишь перед зеркалом бреешься, а бывает, оно мучает своей неторопливостью, вязкой медлительностью. Вдруг оно начинает тянуться, минуты вытягиваются нескончаемой нитью. Отчего это зависит? Насыщенность? Но есть ли тут связь? Когда время не замечаешь — когда много дел или же когда отдыхаешь? Заполненный работой день тоже может промелькнуть, а может и измотать душу медлительностью... Нет, тут случается по-всякому и как-то не совсем ясно, от чего зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит...

У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со Временем, но у Александра Александровича Любищева они были совершенно особыми. Его Время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил Время не как средство, а как возможность творения. Относился он к Времени

благоговейно и при этом заботливо, считая, что Времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время потерянное воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что Время — самая большая ценность и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики.

На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет. Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления, Любищев для себя выработал.

Люди деловые, организованные уверяют, что они — хозяева Времени.

Нарастающий культ Времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит Времени как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие времени мчатся по пятам...

Божество Времени строго мерит достижения: сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать... В этом смысле Любищев не зависел от Времени и не боялся его.

Когда автор погрузился в стихию его Времени, он испытал счастливое чувство освобождения. Это время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самое важное, существенное — как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью.

Вникая в систему Любищева, автор увидел Время словно через лупу. Минута приблизилась; она текла не монотонным, безразличным ко всему потоком — она отзывалась на внимание, растягивалась, выявлялись сгустки, каверны, структура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мысли, время стало осмысленным...

Насчет космического времени или мирового — автор судить не берется; человеческое же время, как он убедился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток.

Время сворачивалось в кольцо, концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее как в Алисиной стране чудес. Перед взором автора проплывали погибшие, потерянные Времена, упущенные годы, когда-то полные молодых сил и надежд,— пустые, высохшие, останки Времени.

Жаль, что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины. Автор хотел бы показать огромность Времени внутри нас, целые месторождения, открытые Любищевым,— неразработанные, так сказать, залежи Времени в недрах человеческого бытия.

Если сравнивать время с потоком, как это принято было еще у древних греков, то Любищев в этом потоке — гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом — и, пожалуй, только в этом — свойственна была Любищеву машинность.

Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства и работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало.

У Любищева времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало — любое Время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его Время. И не только Время — это относилось ко всем жизненным благам: в молодости, когда Любищев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много, ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно, необходимое, хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол.

Кроме делового, настоящего, Любищев чтил, да и любил — прошлое. Он остро ощущал связь времен, незримую цепь, о которой так прекрасно написал Чехов в рассказе «Студент». В каждой научной проблеме Любищева живо занимали, даже волновали, родословная идей, их эволюция, он передумывал, наново оценивал «пережитое». Порой история даже связывала его. Почему прошлое играло такую большую роль для Любищева? Автор не знает. Поэтому он и ссылается на гениальный

рассказ Чехова. Там тоже ничего не объяснено — и все понятно.

Урывая время от основной работы, Любищев писал подробные воспоминания об учителях, о гимназии, о родителях, об А. Гурвиче, К. Давыдове, М. Исаеве... В нем жила признательность к прошлому, которое теперь так легко забывают ради будущего.

Автор не стыдится ни наслаждения, ни зависти, какие он испытывает от любищевского времени. Оно удивительно своей кристаллической стройностью и прозрачностью. Десятилетия просматриваются насквозь, в них нет туманностей или запретных зон. Прожить нашу эпоху такой открытой жизнью — это редкость.

Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со Временем становится все настоятельней. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, такое же как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно и можно его губить. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «времяпользованию». Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить как беречь время, как его находить, как его добывать.

Самое же главное научить отчитываться за время. Любищев, конечно, идеальный пример...

Нет, автор вовсе не очарован своим героем. Автору известны многие его слабости и предрассудки, раздражает его пренебрежение к гуманитариям, этакая спесь к эстетике, мнения его о Пушкине прямо-таки невыносимы, так же как и его претензии к Достоевскому. Словом, хватает всякого. Но любого, самого великого человека, не следует рассматривать вблизи, во всех подробностях его вкусов и привычек.

Тот, кто однажды столкнулся с Любищевым, будет снова возвращаться к нему. Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых даже растет.

Печально, конечно, что уже не тот возраст и нельзя воспользоваться опытом Любищева. Не стоит даже считать, сколько (без всяких уважительных причин) потеряно лет и прочего. С другой стороны надо быть последовательным: если никакое время не бывает мало, то, значит, никогда не может быть поздно вступить в новые

взаимоотношения со Временем. Сколько бы человеку ни оставалось жить и на каком перегоне ни застала бы его эта мысль!.. И даже чем меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать.

Однако теперь, когда так просто сделать нужные выводы, автору почему-то не хочется все сводить к пользе. Как-то неинтересно. Автор вроде бы некстати задумается: можно ли его героя считать действительно героем, а жизнь его — героической, достойной подражания? Так ли все это...

Героизм — это вспышка озаряющая — и сама озарение, требующая крайнего напряжения сил. Стать героем можно поступком, далеко выходящим за рамки обыденного долга. Совершая подвиг, герой жертвует, рискует всем, вплоть до жизни — во имя истины, во имя Родины. Ничего такого не было у Любищева.

...Была не вспышка, а терпение. Неослабная самопроверка. Изо дня в день он повышал норму требований к себе, не давал никаких поблажек. Но это ведь тоже — подвиг. Да еще какой! Подвиг — в усилиях, умноженных на годы. Он нес свой крест, не позволяя себе передохнуть, не ожидая ни славы, ни ореола. Он требовал от себя всего, и чем больше требовал, тем явственней видел свое несовершенство. Это был труднейший подвиг мерности, каждодневности. Каждодневного наращивания самоконтроля, самопроверки. Впрочем, нашелся человек, который усомнился, подходит ли сюда слово «подвиг». Потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие?

Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. Какой же тут крест, думал автор, если этот крест нисколько же Любищева не тяготил, а наоборот приносил удовлетворение, и ни за какие коврижки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел, и опасностей. Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были — неразумно: все равно что хвалить ребенка за хороший аппетит.

И в результате таких размышлений получалось, что

никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым не может быть. А раз нет подвига, то выходило, и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему...

Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого Любищева, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления. У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения, и зависти, и преклонения перед возможностями человеческого духа.

Подвига не было, но было больше чем подвиг — была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь Разума? Может, самое трудное достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке.

Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни, и, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации, и хотя повествование кончается, автор еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы читателю. Автор надеется, что читатель в них и не нуждается. Потому что сам автор, оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Даниил Александрович Гранин

ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

Редактор А. В. Жолнина
Художник Г. И. Сауков
Художественный редактор Э. А. Розен
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор Л. М. Логунова

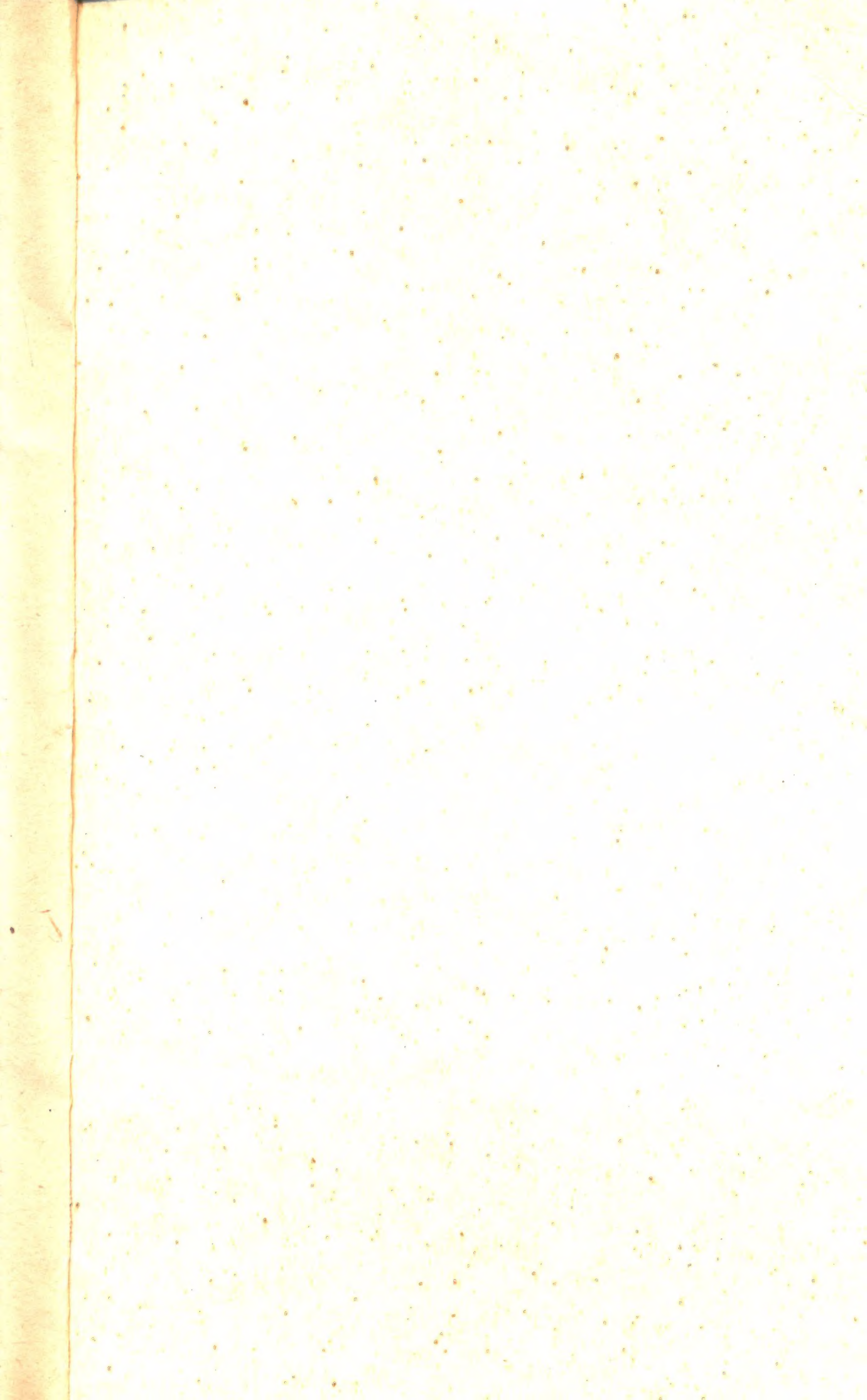
Сд. в наб. 12/III-74 г. Подп. к печ. 31/V-74 г. Ф. бум. 84×108 1/32. Физ. п. л. 3,5. Усл. п. л. 5,88. Уч.-изд. л. 5,68. Изд. инд. МПЛ-384. А09222. Тираж 100 000 экз. Цена 20 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

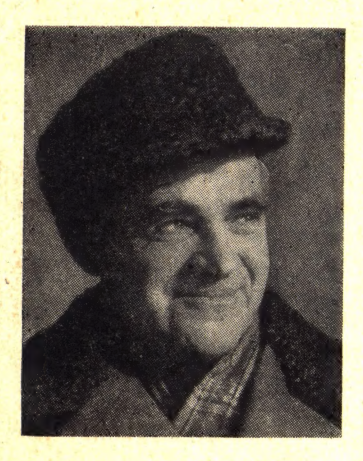
Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 2127.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».



20 коп.



Даниил Гранин широко известен читателю своими романами «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу», повестями, рассказами и очерками. Основная тема произведений — романтика и поэзия научно-технического творчества, взаимоотношение науки и этики, когда важны не только научные результаты, а нравственная атмосфера открытия. Поэтому для автора так дорого соприкосновение с внутренним миром человека, обостренное стремление его героев понять свое место в жизни, во Времени.

«Эта странная жизнь» — новое произведение талантливого писателя.